
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН
ВИКТОР
СПИСАННЫЙ
ЧАСТЬ IV
ИЛЬЯ КАЛИНИН
18+

Илья Калинин

Виктор - Списанный (Часть IV)

https://litres.ru/74698859
SelfPub; 2026

Аннотация

Ему шестьдесят, и по бумагам он мёртв уже дважды. Учётчик на складе железа в пыльном мире на краю тихой линии ждёт солдата, который ищет его по голосу, — и узнаёт, что пришли не за ним. Тихая доля, на которую он собирался прожить сорок лет, оказывается чужой. Рычаг, которым он держал Дом, оказывается адресован хозяину Дома. А от тех, кто видит всё, что движется, не спрятаться. Остаётся одно — войти внутрь. Списанный по возрасту третий помощник мусоровоза становится учётчиком при совете, что заседает в седьмой белой башне Хейвена, и видит, на чём на самом деле держится Дом.

Совет — мёртвый борт с живым счётом. Казна — тысячи жетонов, снятых с шей мёртвых. Главный ключ — семь частей, и одна из них двенадцать лет лежит там, где её не догадался искать никто. Здесь у каждого заранее написан акт на каждого, не хватает только дат. Виктор больше не прячется и не бежит. Он считает — и на этот раз дату ставит сам.

Содержание

Глава 89. Немой 4
Глава 90. Почта 15
Глава 91. Ревизор 26
Глава 92. Кран 37
Глава 93. Ноль 48
Глава 94. Расходные 60
Глава 95. Конторы 71
Конец ознакомительного фрагмента. 81

Илья Калинин
Виктор - Списанный
(Часть IV)

Глава 89. Немой

Утром я простыл.

Простуду я начал с вечера, как начинают погрузку, — с того, чего не видно. Обмотал горло старым шерстяным шарфом, что купил когда-то на Слейте у старьёвщика за медяк и ни разу не надел, и лёг спать в нём. Ночью дважды вставал и кашлял у окна, громко, с надрывом, в кулак, чтобы внизу, на почте, где почтарка с рассветом гремела ящиками, слышали сквозь пол. Утром спустился, держа шарф у горла, и показал на горло пальцем, когда она высунулась из окошка пожелать мне доброго утра. Почтарка покачала головой, подняла очки на шнурке к глазам, будто простуду можно разглядеть, и сказала, что пепел, господин, это всё пепел, у нас все так начинают, кто приезжий: первую зиму хрипят, вторую кашляют, а на третью уже не замечают.

Я кивнул. Пепел был мне на руку. На этом мире пепел садил горло всем: каждый третий тут кашлял, каждый пятый хрипел, и никто не спрашивал почему, как никто не спра-

шивает, почему на Дампе пахнет гнилью. Простуда здесь не была приметой. Она была погодой.

В харчевне у почты, под моими окнами, я взял горячей воды и пил её мелкими глотками у всех на виду, морщась, как морщится человек, которому больно глотать. Хозяин харчевни, грузный, с красными от жара руками, сказал, что есть у него средство — травяной сбор с рудников, горький, как жизнь, — и я заплатил за сбор и выпил его при нём, и он остался доволен, потому что человек, который взял твоё средство, становится твоим человеком. Через два дня он будет рассказывать всем, что учётчик со склада железа простыл и лечится у него. Это мне и было нужно. Простуда, о которой говорят другие, крепче простуды, о которой говоришь сам.

На складе я написал старшему учётчику в книге, на полях, мелко: горло, говорить не могу, писать могу. Старший учётчик здесь был сухой старик с собственным сухим кашлем, что жил при складе лет двадцать и считал железо так, как другие перебирают чётки, — не глядя. Он прочёл, кивнул и сказал, что говорить на складе и не надо, железу слова ни к чему, а кто много говорит, тот много путает. Я поклонился ему, как кланяются старшим, и ушёл в будку.

Голос не правится. Старый лекарь на Кроссинге сказал это про глаза, когда ломал мне нос и опускал брови: глаза не правятся никак. Про голос я понял сам, позже, на Хайве, когда сидел над кассой в девяти метрах без окна и думал, что во

мне осталось от Скорева. Лицо мне переделали, руку переделали, имя я менял трижды за год. Голос оставался мой — ровный, скучный, тот самый, каким я тридцать лет откликался на перекличках третьим: здесь. Тот, каким я сказал солдату на кладбище: не оборачивайся. Тот, каким сказал на причале у старого дока: Рид мой, пока. Солдат узнает его из тысячи. Значит, тысяча голосов в этом городе зазвучит при солдате, а мой — нет.

На прошлой неделе мне исполнилось шестьдесят. Я отметил это одной строкой в счёте, который не веду на бумаге: шестьдесят по правде, пятьдесят пять по паспорту, десять лет как списан по возрасту. В шестьдесят на нижних уровнях уже не живут — доживают. Я не доживал. Я считал.

Считал я в те дни город.

Город был одна улица, вытянутая вдоль складов от порта до рудничной ветки, вёрст на пять, и ветер шёл по ней всегда в одну сторону — от рудников к порту, как вода идёт под уклон. Я прожил тут три месяца и знал улицу так, как знал когда-то трюм Профита: где что лежит, где что скрипит, где что может сорваться. Теперь я прошёл её заново — не как жилец, а как приёмщик, что обходит склад перед тем, как подписать акт.

Первое — склад железа у третьего причала, мой. Во дворе склада ходил по рельсам старый кран с магнитной плитой вместо крюка. Плита брала пакет прутка или стопу листа целиком, без строп и без стропальщиков, и несла над двором,

гудя, как гудит трансформатор, — и пока гудела, держала. Ток на плиту шёл через щиток у ворот склада, через рубильник, который был на виду у всех и на который никто не смотрел, потому что рубильник не человек и не груз, его не считают. Крановщик сидел в стеклянной будке наверху и смотрел на пакет, а не на тех, кто внизу. Под плитой ходили все, кому надо было пройти через двор: крановщик кричал сверху, но крик в гуле и в пыли тонул, и люди шли, пригнув головы, будто голову от пакета прутка можно спасти, пригнув её.

Второе — рудничная ветка в конце улицы. Узкая колея, вагонетки с опрокидными кузовами, что возили к рудникам железо, а от рудников породу в отвал. На повороте у отвала вагонетки опрокидывали вручную: выбивали клин, и кузов валился набок, вываливая всё, что в нём, под откос. Возчики выбивали клин не глядя, на звук, потому что глядеть в пыли было не на что. Под откос иной раз уходил и возчик. Таких не считали. На руднике их числили убылью, как на кольце числили экипажи.

Третье — пыльный час. После полудня ветер крепчал, поднимал с отвалов пепел и гнал его вдоль улицы стеной, так что на час, а то и на два в трёх шагах не было видно вытянутой руки. В пыльный час закрывали пыльные ворота складов — тяжёлые, на роликах, чтобы пепел не заносил дворы, — и все, кто оставался на улице, шли вдоль стен, держась за них рукой, как слепые. В пыльный час на улице могло случиться что угодно с кем угодно, и никто бы этого не увидел. Никто

бы и не услышал: ветер выл в проводах и в гнутых деревьях так, что глох собственный голос.

Я разложил эти три места, как раскладывают три ключа, — порознь, у каждого своё назначение. И приписал к каждому то, ради чего обходил улицу.

Если солдат найдёт меня первым — двор склада. Он придёт через ворота, как ходят солдаты, — прямо, глядя на того, кого ищет, а не вверх. Плита над двором гудит всегда, к её гулу привыкают на второй день. Рубильник у ворот — в трёх шагах от будки учётчика.

Если солдат станет ждать меня на дороге — пыльный час. Солдат слышит движение, но в пыльный час слышит его хуже меня, потому что эту улицу я знаю на ощупь, а он — нет.

Если солдат пойдёт за мной к рудникам — клин.

Я считал это без злобы и без жалости, как считал когда-то, на сколько вдохов хватит воздуха в баллоне. Сын Риши. Её прямые глаза, её крупные буквы. Солдат, что голыми руками убил человека со спичкой над скобяной лавкой и задушил Корда медным проводом на мёртвом борту — за мать. Нож, который я сам навёл на Двоих. Теперь этот нож шёл на меня, и я делал с ним то, что делают с ножом, который идёт на тебя: искал, обо что его сломать. Сын Риши — строка. Строку можно вычеркнуть.

Солдат ходил по складам с того самого вечера, как я получил письмо.

Я узнавал о нём так, как узнают о погоде, — от других.

В харчевне у почты возчики говорили, что приезжий, высокий, стриженый, без вещей, ходит по складам и спрашивает учётчиков. Что у шестого склада он взял за грудки сторожа и тот потом полдня не мог отдышаться. Что на восьмом складе он заставил молодого рыжего учётчика прочесть вслух накладную от начала до конца и слушал, закрыв глаза. Что ночует он неизвестно где и неизвестно где ест, а платит, если платит, мелкой монетой, как платят солдаты. Возчики смеялись: ищет, видно, того, кто ему задолжал. Хозяин харчевни сказал: нет, кто ищет долг, тот ищет имя, а этот ищет голос; видно, кто-то сказал ему что-то такое, что он хочет услышать ещё раз. Хозяин был умнее своих возчиков. Я пил его горький сбор и кашлял в рукав.

На второй день, после обеда, солдат пришёл на наш склад.

Я увидел его из будки, через мутное окно, — сначала тень в воротах, против света, потом его самого. Я видел его и прежде. На похоронах матери — издали, когда сам стоял с лопатой у чужой могилы. У белых башен — третьим от края в оцеплении. На причале у старого дока — ночью, у ржавого кнехта, с рукой у бока. Он не видел меня ни разу. Теперь он был в штатском, в тёмной куртке, тесной ему в плечах, без шапки, и шёл через двор прямо, глядя перед собой, как ходят по плацу. Левая рука его по-прежнему держалась у бока, где сидела пуля Ланга, — не прижималась, а держалась рядом, как держат руку у кармана, где лежит то, что нельзя потерять.

Сторож, наш хромой болтун, увидел его раньше меня, вскочил с ящика у ворот и замахал руками, что-то говоря, торопливо и много, — болтливые от страха болтают втрое. Солдат слушал его, не останавливаясь, и сторож пошёл рядом, хромая, заглядывая ему в лицо, и так дошёл с ним до конторы.

Старший учётчик вышел навстречу. Солдат сказал ему что-то коротко. Старший учётчик пожал плечами, обернулся и махнул рукой нам, учётчикам: выйти.

Нас на складе железа было трое, кроме старшего: я; молодой парень с тетрадью, что учился у старшего ремеслу; и немолодой, лысый, молчаливый, что вёл листовое железо и ни с кем никогда не говорил. Мы вышли и встали у конторы в ряд, как встают на перекличке. Я встал третьим. Всю жизнь я вставал третьим.

Солдат прошёл вдоль нас, как проходят вдоль строя.

— Скажи что-нибудь, — сказал он молодому.

Молодой покраснел и сказал, что он учётчик второго разряда и учится. Солдат кивнул и прошёл дальше.

— Скажи что-нибудь, — сказал он лысому.

Лысый посмотрел на него долго, как смотрят на погоду, которая испортилась, и сказал одно слово: железо. Солдат подождал, не скажет ли он ещё. Лысый не сказал. Солдат прошёл дальше.

Ко мне.

Я поднял руку к горлу, к шарфу, и покачал головой. Потом

закашлялся — взахлёб, как кашляют люди, у которых пепел сел глубоко, согнувшись, отвернувшись, в рукав. Старший учётчик сказал за меня сухо, как говорят о железе: простыл, третий день не говорит, пепел. Я выпрямился, отдышался и, не поднимая глаз, достал из кармана карандаш и обрывок накладной и написал на колене: горло, извините.

Протянул ему.

Солдат взял бумажку. Посмотрел на неё. Потом на меня. Я смотрел на его руки — крупные, её руки, только мужские, с ссадинами на костяшках — и не поднимал глаз выше его подбородка. Глаза, сказал он сторожу, как у старика, что всё повидал. Глаза не правятся — значит, их опускают. Учётчик, который смотрит в пол, — просто учётчик. Таких на кольце тысячи. Учётчики всю жизнь смотрят в пол, потому что на полу лежит груз.

Он держал бумажку дольше, чем надо. Я считал. На счёт семь он сложил её пополам и сунул в карман куртки.

— Поправишься — скажешь мне пару слов, — сказал он.

Не спросил. Сказал, как говорят на посту: сменишься — доложишь.

Я кивнул, не поднимая глаз.

Он ушёл. Сторож похромал за ним к воротам, что-то говоря, и в воротах солдат обернулся — не на меня, на двор: на кран, на плиту, которая как раз гудела над стопой листа, — и посмотрел на неё так, как солдаты смотрят на всё, что движется над головой. Потом ушёл.

Старший учётчик посмотрел ему вслед, покашлял своим сухим кашлем и сказал, ни к кому не обращаясь, что с такими глазами в учётчики не берут, с такими берут в охрану, а охране учётчики не нужны, охране нужны те, кого охраняют. И ушёл в контору. Он был умнее своего склада.

Бумажку с моим почерком солдат унёс в кармане. Это я тоже вписал в счёт — отдельной строкой, с вопросом.

Простуда — не жизнь. Простуда — неделя, от силы две. Потом простуженный либо выздоравливает, либо его ведут к лекарю у порта, а лекарь, если его спросят, скажет. Солдат сказал: поправишься. Значит, вернётся. Не сразу — сперва он обойдёт девятый склад и отвал, а потом вернётся к простуженным и немым, потому что солдаты возвращаются к тому, что не досмотрели. Неделя.

А через три дня приходил борт с пересадочной линии. Солдат будет у трапа — так я писал ему когда-то сам. Только ждать он будет не меня одного. Солдат в розыске не стоит у трапа без нужды. Если стоит — значит, кого-то ждёт, или кого-то ждут вместе с ним. Я хотел видеть, кого.

В день борта я взял у старшего учётчика бумагу на приём. Ящики с крепежом для рудников шли с пересадочной каждые шесть дней, и учётчики ходили к трапу сверять их по очереди. Очередь была не моя. Я написал старшему на полях: простыл, на складе холодно, у трапа теплее, поменяюсь. Старший прочёл и махнул рукой: меняйся, железу всё равно, кто его сверит.

Порт был на два поля, оба в пепле. Борт пришёл к полудню, до пыльного часа, — серый, пузатый, с облупленной обшивкой, из тех, что ходят по тихим линиям и возят на окраины людей, почту и крепёж, а с окраин — пустоту. Я стоял у грузового люка с бумагой и карандашом, в шарфе, спиной к стене пакгауза, и смотрел на пассажирский трап.

Солдат стоял внизу. Не прятался. Стоял сбоку от трапа, у столба, как ставят часового, — так, чтобы видеть каждого, кто сходит, и каждого, кто поднимается. На поднимающихся он смотрел внимательнее: ждал, что кто-то попробует уйти. Я и сам на его месте ждал бы этого. Учётчик с ровным голосом, получивший письмо, уйдёт с первым бортом — так сделал бы всякий, кто бегал. Я бегал всю вторую половину жизни. В этот раз я стоял у грузового люка и сверял крепёж.

Сходили по одному. Рудокопы со своими мешками, трое, усталые, на смену. Женщина с двумя детьми и узлами — к мужу на рудник. Старик-коробейник с ящиком инструмента. Потом — трое.

Двое — крепкие, в дорожных плащах, каждый с тяжёлым чемоданом, какие носят коммивояжёры: образцы, прейскуранты, всякая мелочь на продажу. Только чемоданы они несли легко, как образцы не носят. И третий — сухой, узкий, в сером, с портфелем, прижатым к боку локтем, как прижимают то, что дороже всего, что у тебя есть.

Они сошли по трапу один за другим и прошли мимо солдата у столба. Солдат посмотрел на них — на всех троих,

внимательно, как смотрел на каждого, — а они на него не посмотрели. Ни один. Ни взглядом, ни поворотом головы. Прошли мимо, как проходят мимо столба, к которому он прислонился.

Я знал, как не глядят на людей. Я сам тридцать лет не глядел на начальство, чтобы начальство не глядело на меня. Так не глядят только на то, что знают. На своих. На то, что уже сосчитано.

Солдат смотрел им вслед, пока они не свернули на улицу. Потом снова стал смотреть на трап. Он их не знал.

Профессионал не глядит дважды. Эти не глядели вовсе.

Нож ждал у трапа меня. А с трапа сошли те, кто держал его поводок, — и нож их не узнал.

Глава 90. Почта

Трое поселились в харчевне у порта. Там единственной на улице сдавали комнаты наверху — для приезжих коммивояжёров, для конторских ревизоров с рудников, для всех, кто приезжал сюда на неделю и уезжал с первым бортом, не оглядываясь. Я узнал это не сам. Я сверил крепёж, подписал накладную, отдал бумагу старшему учётчику и до вечера сидел в будке, а ближе к пыльному часу молодой учётчик с тетрадью, что бегал в порт за печатью, рассказал всем, кто был в конторе, что на борту приехали страховые: двое с чемоданами и один с портфелем, и что тот, с портфелем, спрашивал у хозяина харчевни бумагу и чернила, а потом — где тут почта.

Страховые. Не коммивояжёры. Значит, назвались сами — тем, чем назывались Ланг и Корд, когда ходили по моему следу с печатью синдиката, якорем и весами, и говорили людям: ему доля причитается. Люди помогали охотно. Человеку ведь деньги причитаются.

Пыльный час прошёл, как проходит всякий раз, — стеной, воем, серым светом в окнах будки, а потом сразу тишиной, будто ветер выключили рубильником. Пыльные ворота откатили. Двор занесло ровным пеплом по щиколотку, и молодой с тетрадью мёл его к стене, чихая. Я дописал книгу, сдал старшему ключи от будки, как сдавал всякий вечер, и пошёл

домой — тем же путём, что всегда, по единственной улице, мимо трёх харчевен, ровно, не быстрее и не медленнее тех, кто шёл со смены рядом.

Почтарка окликнула меня из своего окошка, как окликала всякий вечер. Только в этот вечер голос у неё был другой — как у человека, у которого есть новость и которому некому её отдать.

— А у нас гости были, господин! Из страхового!

Я остановился и показал на горло: слушаю, сказать не могу.

Ей это было и нужно. Ей нужен был не собеседник, а слушатель. Она подняла очки на шнурке к глазам, будто опять собиралась читать, и рассказала всё — сама, по порядку, как рассказывают то, что редко бывает. Пришёл после обеда господин, сухой такой, вежливый, в сером, с портфелем, а с ним второй, крепкий, тот всё у двери стоял и на улицу глядел. Сухой назвался из страхового и спросил книгу срочных писем за последний месяц: кто получал, откуда, кому. У нас такая книга есть, сказала она с гордостью, хоть срочных у нас раз в год, а книга есть, как положено. Я показала. Что мне прятать, у меня всё записано. Он нашёл вашу строчку — с Хейвена, срочное, оплачено втрое — и переписал её к себе в тетрадку. И подпись вашу, господин, перерисовал, аккуратно так, как рисуют картинку. А потом спросил, где живёт получатель. Я сказала: у меня над головой, наверху, учётчик со склада железа, простыл он, третий день не говорит.

— Видно, доля вам какая причитается, — сказала почтарка и улыбнулась, как улыбаются чужой удаче, в которой есть немного и своей. — Вот вам и письмо, и доля. Всё сразу.

Я кивнул. Достал карандаш и написал ей на краю накладной, что лежала у меня в кармане: спасибо. Она взяла бумажку, прочла и положила в ящик стола, к квиткам, будто это было письмо.

Я поднялся к себе.

Комната была такой, какой я её оставил утром. Койка у стены, стол у окна во двор, печь, полка над печью. Кружка на подоконнике, на сложенном вчетверо листе, ручкой влево. Ветер за окном гнул дерево в ту же сторону, что всегда.

Я сел к столу, не зажигая лампы, и стал считать.

Имя у них было. Подпись была — перерисованная аккуратно, как рисуют картинку. Комната была — над головой у почтарки. Склад был. Не было лица: почтарка лица не рисует, она его видит каждый день и рассказывает о нём каждому, кто спросит. Значит, лицо им расскажут завтра. Или покажут.

Чего они хотят — взять или посмотреть? Если взять — пришли бы сейчас, пока я сижу у окна, втроём, как Двое ходили за Холтом, ночью, через сад. Если посмотреть — сперва придут к вещам, а не к человеку. Так я сам ходил к вещам Пратта, к ящику Двоих под койкой над скобяной лавкой, к портфелю, к квиткам, к связке на расходы. Вещи говорят больше человека, потому что вещи не врут и не боят-

ся. Сначала смотрят, потом берут. Это ремесло, и ремесло у всех, кто его знает, одно.

Значит, ночью придут сюда. Ко мне — или к моим вещам.

Что у меня было в этой комнате, кроме вещей. Кружка с четырьмя буквами на боку, по которой Дом читал меня во всех реестрах. Письмо мёртвой женщины с припиской её сына. Ключ под половицей у окна, в жестяной коробке, третий из трёх. И я сам.

Ключ я достал. Половицу поднял ножом, вынул коробку, ключ положил в карман, коробку — обратно, половицу — на место, гвоздь — в старую дырку, пальцем. Того, чего не знают, не хватятся. Кружку и письмо оставил, где лежали. Если в комнате, где живёт человек, ночью не окажется ни его, ни его вещей — это бегство. Бегство — подпись. Если не окажется только человека — значит, человек вышел. Человек имеет право выйти. Кашляет, не спит, ходит по двору, сидит у лекаря, пьёт горький сбор в харчевне у почты до закрытия.

Потом я посчитал почтарку.

Она показала им книгу и лестницу. Завтра она расскажет об этом всей улице, как рассказала мне, — радостно, по порядку, с очками у глаз. Расскажет солдату, если солдат спросит, а солдат спрашивает всех. Она знает моё лицо лучше всех на этой улице, потому что видит его каждое утро и каждый вечер, сквозь своё окошко, вблизи. Она — звено. Между ними и мной, между солдатом и мной — она.

Предупредить её я мог. Написать на бумажке два слова

— уезжайте к родне, — и сунуть в окошко. Она бы прочла, подняв очки, и испугалась бы, и побежала бы. А бегущий — подпись. Те, кто смотрит, увидели бы, что она побежала, и спросили бы себя, от кого, и ответ стоял бы у неё над головой.

Я не написал.

В лавке у порта я ещё днём купил свечу и полбуханки хлеба, а в харчевне у почты, когда стемнело, выпил при хозяине его горький сбор, кашлял долго, на всю харчевню, и ушёл к себе наверх так, чтобы видели. Потом погасил лампу. Посидел в темноте, пока внизу на почте не перестали греметь ящиками. И вышел — не на улицу, а во двор, по чёрной лестнице, что вела мимо почтовой кладовой к сараю с углём.

Сарай был мой наполовину: уголь в нём я покупал у хозяйки комнаты, и ключ от его двери висел у меня на одном кольце с ключом от комнаты. Сарай стоял в глубине двора, у забора, наискосок от моего окна. Из щели между досками окно было видно целиком: тёмный квадрат на тёмной стене, и над ним гнутое дерево, что качалось, как маятник, который никогда не дойдёт до другой стороны.

Я сел на уголь спиной к доскам, лицом к щели, поднял воротник и стал ждать.

Ждать я умел. Тридцать лет на кольце ждал своего часа, пять лет — с ключом у бедра, трое суток — в задраенной рубке мёртвого борта, считая вдохи. Ночь в угольном сарае — это не ожидание. Это смена.

Ветер к ночи стих. В пепельном мире ветер ложится к полуночи, как ложится собака, набегавшаяся за день, и тогда становится слышно всё: как скрипит под ветром забор, хотя ветра нет, как гудит вдалеке у рудничной ветки трансформатор, как кашляет где-то за стеной хозяйка комнаты, как стучит в груди собственное сердце, которое за шестьдесят лет так и не научилось стучать тише, когда надо.

В третьем часу ночи в моём окне зажёгся свет.

Не лампа — лампу видно сразу, она стоит на месте и горит ровно. Это был фонарь с заслонкой, прикрытый ладонью, узкий луч, что ходит, а не стоит. Он прошёл по стене, по койке, по полке над печью. Задержался на подоконнике — долго, дольше, чем на всём остальном. Потом опустился к полу и пошёл по половицам медленно, по одной, как идёт счётчик по строкам накладной. У окна задержался снова.

Я считал вдохи. На сороковом луч ушёл с пола вверх, к потолку, к балке, к трубе печи. На восьмидесятом погас.

Сорок минут, может, больше. Так обыскивают люди, которые знают, что ищут, и знают, где это обычно лежит. Матрасы, половицы, печные трубы, подкладки, двойные донца. Я и сам обыскивал так. Я и сам знал, где это обычно лежит. Потому и лежало оно у меня в кармане.

Потом стало тихо. Я ждал, что они сойдут по чёрной лестнице через двор, мимо сарая, — и тогда я увижу их силуэты. Они не сошли. Они сошли внутрь — вниз, в почту. Я услышал это не ушами, а телом, сквозь доски и землю: глухой

удар, тяжёлый и мягкий сразу, как падает с полки мешок с почтой, когда его неловко стаскивают. Один. Больше ничего.

Я сидел на угле и не двигался.

Перед рассветом, когда небо над забором из чёрного стало пепельным, двое прошли через двор от чёрного хода почты к калитке в заборе. Шли не торопясь, как идут со смены, один впереди, другой на два шага сзади, — так ходили Ланг и Корд, так ходят все, кто ходит парой по таким делам. Тот, что сзади, на ходу застёгивал плащ. Чемоданов при них не было. Калитка скрипнула и закрылась.

Я досидел до света. Потом вышел из сарая, запер его, обошёл двор вдоль забора и вышел в калитку на заднюю улочку, где по утрам выносили золу, и по ней — на главную улицу у харчевни. И пошёл к почте с улицы, как идёт человек, что ночевал не дома и возвращается от лекаря или от горького сбора, — помятый, в шарфе, с кашлем.

У почты стояли люди.

Хозяйка комнаты, в платке поверх ночной сорочки, сидела на ступеньке крыльца и плакала, раскачиваясь. Хозяин харчевни, красный, держал в руке свою тряпку и не знал, куда её деть. Двое возчиков, что шли на смену к рудникам, стояли и смотрели в открытую дверь почты, как смотрят на то, на что смотреть не надо, но отойти нельзя. Лекарь от порта, худой, небритый, в пальто прямо на исподнее, выходил из двери, вытирая руки.

Почтарка лежала внизу у крутой внутренней лестницы,

что вела из почты в кладовую, где хранились мешки. Лежала на боку, лицом к стене, и голова её была повёрнута так, как голова у живых не поворачивается. Рядом валялся почтовый ящик, перевёрнутый, и из него высыпались квитки. Очки на шнурке лежали на полу отдельно, в шаге от неё, целые.

— Шея, — сказал лекарь, ни к кому не обращаясь. — Лестница крутая, я ей говорил. Ночью полезла за чем-то, ящик тяжёлый, ступенька стёртая. Говорил я ей.

Хозяйка комнаты завыла громче.

Я постоял, сколько стоят у таких дверей люди, которые знали покойную, — кашлянул в рукав, покачал головой, — и поднялся к себе по наружной лестнице.

Комната была такой, какой я её оставил вечером. Койка у стены, стол у окна, печь, полка. Всё на месте. Положено, как лежало. Ремесло.

Только кружка стояла на подоконнике ручкой вправо.

Я ставлю её ручкой влево. Всегда. Всю жизнь, с Профита, где кружка стояла на полке над койкой и ручкой влево было ближе к левой руке. Они положили всё, как лежало, — только не знали, как лежало у меня. Так кладут те, кто запоминает вещь, а не человека.

Письма под кружкой не было.

Половица у окна лежала ровно, гвоздь сидел в своей старой дырке. Коробка под ней была пустая — как я её оставил. Они в неё заглянули: на жести, в пепельной пыли, что набивалась сюда сквозь щели в полу, остался след пальца.

Я сел на койку и посидел. Потом умылся, переменил рубаху, поставил кружку ручкой влево и пошёл на склад — в свою смену, как всякий день.

Сторожа у ворот не было.

Ящик, на котором он сидел, стоял пустой. Старший учётчик ходил по двору, кашляя, и сам отпирал пыльные ворота, и сам ругался с крановщиком, который пришёл без пропуска, потому что пропуск выдавал сторож. Молодой с тетрадью стоял у конторы бледный. Он и рассказал — мне и лысому, хотя лысый не спрашивал. Сторожа нашли на рассвете возчики у рудничной ветки, в опрокинутой вагонетке на повороте у отвала, под слоем породы. Видно, шёл домой ночью пьяный — жил он там, за веткой, в бараке, — сел отдохнуть в пустую вагонетку, уснул, а утренняя смена опрокинула на него кузов с породой, не заглянув. Засыпало. Возчики клянутся, что не видели, — в пыли не видно.

— Два несчастья за одну ночь, — сказал старший учётчик, проходя мимо, и покашлял. — На этом мире несчастья ходят парами. Как возчики.

Я сел в будку и раскрыл книгу.

Сторож пил, это правда. Но пил он в харчевне у почты, по вечерам, громко, и домой ходил засветло, потому что хромал и боялся темноты на рудничной ветке. Он сам рассказывал мне об этом в обед, сидя на ящике у двери будки: как в темноте у отвала сломал ногу двадцать лет назад и с тех пор ходит туда только днём. Он рассказывал всем всё. Рассказал

и мне про высокого стриженого: тобой интересовались, мастер. Невежливо спрашивал. Он рассказал бы и вежливым — про учётчика с ровным голосом, что простыл как раз тогда, когда пришёл солдат. Он видел моё лицо каждый день. Он знал, где я сижу, когда ухожу, как держу карандаш — левой.

Почтарка видела моё лицо каждое утро и каждый вечер, вблизи, сквозь окошко, и рассказывала о нём всякому, кто спросит.

Двое. Двое, кто на этой улице знал моё лицо лучше всех и рассказывал о нём охотнее всех. За одну ночь их не стало. Обоих — тем почерком, что я знал: несчастный случай, какие бывают, о которых говорят: я ей говорил.

Узкие люди закрывают звенья по привычке. Двое так закрыли мастера омоложения, скупщика, бумажника, клерка, Ришу — каждого, кто знал меня и мог что-то сказать. Тех, кто знает, режут, когда они больше не нужны. Это я выучил за последний год, как выучивают таблицу.

Только Двое резали звенья позади себя, по дороге ко мне. Они шли ко мне по моим следам и затирали следы за собой. А эти — эти пришли туда, где я уже был. Им не нужно было меня искать: имя, подпись и комната у них были с вечера. Им оставалось одно — чтобы кто-нибудь показал им моё лицо. И первым делом они убрали тех двоих, кто мог его показать.

Я сидел в будке над раскрытой книгой и смотрел на строчку, которую не видел.

Те, кто пришёл меня брать, не убивают тех, кто может меня показать. Им это ни к чему — им нужен показ.

Предупредить почтарку я мог. Не стал. Это была моя строка, и я её вписал.

А вторую строку я вписал с вопросом. Так не ищут. Так прячут.

Глава 91. Ревизор

Страховые не уехали. Это было первое, что я сосчитал утром.

После двух несчастий за ночь чужие, что приехали с последним бортом, уезжают с первым — так делают все, кто не хочет, чтобы на них смотрели. Эти остались. Сухой с портфелем с утра сидел на складе у первого причала, у самого порта, и читал книги. Старший учётчик с первого причала потом рассказывал в харчевне, что приезжий читает не так, как ревизоры с рудников, которые ищут недостачу и находят её всегда, потому что недостачу находит тот, кто её ищет, а по-другому: спрашивает не сколько, а откуда, и не про всё железо, а про ящики с особой отметкой, и что такие ящики у них бывают, раз в два-три месяца, и что их забирают без номеров.

Две черты накрест и точка. Метка, что я видел на особых блоках Профита, на ящике фаянса на Слейте, в книге Холта на полях. Коридор жил и здесь, в конце тихой линии, в пепле. Я этому не удивился. Мусор не досматривают нигде. Железо на краю света — тоже.

Один из крепких сидел с сухим, на ящике у ворот первого склада, и смотрел на улицу. Второй с утра ходил за солдатом — шагах в ста, по другой стороне улицы, с газетой, — как ходят за человеком, которого не хотят ни догнать, ни поте-

рять. Солдат его не видел. Солдат смотрел на тех, кто сходит с трапа, и на тех, кто говорит, а этот не сходил и не говорил.

Значит, комнаты в харчевне у порта стояли пустые. До обеда — точно, а в обед сухой ест там же, где читает: так едят все, кто читает книги на чужом складе, — хлеб на краю стола, над бумагой.

Почта в то утро не открылась. На ручке двери висела чёрная лента, а под ней — лист, написанный рукой хозяйки комнаты, крупно и криво: по случаю кончины почта закрыта до похорон. Я видел, как к этой двери подошёл сухой. Он шёл с первого склада, с портфелем под локтем, и шёл сюда нарочно: не смотрел ни на харчевню, ни на улицу, а смотрел на дверь почты, как смотрят на ящик, из которого надо взять бумагу. Прочёл лист. Постоял. Потом постучал — вежливо, два раза — и спросил у хозяйки комнаты, что вышла на стук в платке, заплаканная, когда почта откроется: ему нужна книга. Хозяйка сказала, что почтарка ночью разбилась на лестнице. Сухой сказал: соболезную. И спросил ещё раз, когда откроется почта, потому что книга ему нужна до борта.

Он не знал. Я смотрел на него из окна харчевни у почты, где пил свою горячую воду, и видел это так же ясно, как на складе видят, что ящик пуст. Сухой не знал, что случилось ночью внизу у лестницы. Узкий человек приехал за книгой, книга оказалась заперта — и это было всё, что он увидел в мёртвой почтарке: запертую книгу. Ночью работал не он.

В обед я пошёл в харчевню у порта за горячей водой.

Хозяин был у очага, хозяйка — в погребе, мальчишка-половой разносил похлёбку возчикам в зале. Лестница на галерею с комнатами шла из коридора у кухни, мимо кладовой, и никто не смотрел на неё, потому что по ней ходили только постояльцы, а постояльцев днём не бывает. Я поднялся, держа кружку с горячей водой в руке, — человек с кружкой не крадётся, он ищет, где сесть, — и прошёл по галерее до третьей двери. Какая комната чья, мне было известно с утра: молодой с тетрадью узнал это у мальчишки-полового за медяк и рассказал в конторе, сам не зная зачем, потому что молодые рассказывают всё, что узнали.

Замок был дверной, простой, какие ставят в харчевнях, где воровать нечего. Два гвоздя, полминуты. Я вошёл и закрыл за собой.

Комната сухого была чистая, как чистая страница. Койка заправлена по-казённому, углом. На столе — ничего, кроме чернильницы и подставки для пера, придвинутых к самому краю, ровно, под прямым углом к краю. Плащ на крючке, и под ним, на полу, начищенные ботинки — вторая пара. Человек, который возит вторую пару ботинок на край света, где пепел по щиколотку, — человек, который не умеет ходить в грязном. Узкий человек. Узкие живут в своей узкости, как в футляре.

Прежде чем тронуть хоть что-нибудь, я постоял и посмотрел — не на вещи, а на то, как они лежат. Каким углом стоят ботинки к стене. На каком расстоянии чернильница от края

стола. Как подогнут угол одеяла. Где лежит пыль, а где её нет. Они в моей комнате положили всё, как лежало, — и поставили кружку ручкой вправо, потому что запоминали вещь, а не человека. Я запоминал человека.

Под койкой стоял дорожный ящик — плоский, крепкий, обтянутый кожей, с хорошим конторским замком. Конторские замки делают для конторщиков. Гвоздь, шпилька из шарфа, четыре минуты. Сверху лежало бельё, сложенное стопкой, как в казарме, а под бельём — папка. Толстая, серая, на завязках, и завязки затянуты бантом, у которого одна петля длиннее другой. Я запомнил, какая.

Я сел на пол, спиной к двери — в первый раз за много лет спиной к двери, потому что у двери был замок, а у меня не было времени, — и развязал папку.

Сверху лежало предписание. Бумага плотная, белая, хорошая, какой не бывает ни на кольце, ни на Дампе. В углу печать — полукруг, перечёркнутый прямой чертой, синим. Этот знак я видел тридцать лет. На Даунсайде он висел на каждой двери, на каждом пайковом окне, на каждой карточке воздуха, на табличке над окошком найма, где мне сказали: возрастной предел сорок пять. Меридиан. Полукруг — это планета, черта — это линия, по которой они делят планеты на своё и не своё.

Под этим знаком я прожил на Даунсайде свои последние годы до Профита — в клетушке в девять метров, на синтетике, с пайковой карточкой воздуха, на которой тот же полу-

круг с чертой стоял в углу, как клеймо на скотине. Под этим знаком сидела за стеклом на бирже найма женщина, что сказала мне, не глядя: возрастной предел сорок пять, следующий. Знак смотрел на меня столько лет и ни разу меня не увидел. Теперь он лежал у меня на коленях, на хорошей бумаге, и говорил обо мне.

Под печатью было напечатано ровно, без единой помарки:

Правление Меридиана. Отдел убыли. Ревизия по повторному акту страхового синдиката по борту Сальдо. Ревизору — содействие на всех мирах. Конвой предоставлен советом. По поручению седьмого места.

Седьмого места. Я прочёл это дважды. В сплетнях хейвенского листка про совет говорили разное: семь домов по башне; один человек; бумаги, что подписывают сами себя. Семь домов по башне. Седьмое место — седьмая башня. И сидит на этом седьмом месте не дом Вейл, не охрана, не синдикат с якорем и весами. На седьмом месте сидит отдел убыли правления Меридиана.

Тот самый Меридиан, которому я отправил свой пакет. Тот самый, которому я написал на сорока листах, что Дом тридцать лет возил своё в его мусоре. Тот самый, что, как я думал, платил за собственную обёртку и не знал, что в ней.

Знал. Не весь — отдел. Не правление — одно место в нём.

На галерее скрипнули доски. Я положил ладонь на лист и перестал дышать. Шаги были лёгкие, быстрые, босые — мальчишка-половой, с ведром: ведро звякнуло о перила.

Шаги дошли до соседней двери и остановились. Я считал. На счёт девять мальчишка постучал в соседнюю дверь, подождал, сказал сам себе, что никого, и пошёл обратно, гремя ведром. Постояльцев днём не бывает, мальчишка это знал. Но стучал, потому что хозяйка велела стучать. Узкие люди делают то, что велено, даже когда знают, что за дверью никого. Я выдохнул и взял следующий лист.

Дальше лежала справка. Тоже на хорошей бумаге, но написанная от руки — мелко, наклонно, почерком человека, который пишет весь день. По тринадцатому ящику. Подбор с борта Сальдо, мусорщик дальнего плеча, капитан такой-то: по накладной двенадцать особых блоков, принято тринадцать. Лишний — тяжёлый, несли двое матросов, показания матросов приложены. На Дампе тринадцатый ящик вскрыт приёмщиком: внутри хлам с Дампа, по весу равный. Отметка на полях тем же почерком: хлам с Дампа на Дампе в ящик не грузят — грузят на Дампе в ящик то, что из него вынули. Ящик ехал не пустой. Из ящика вышли.

Под справкой — лист с вопросами. Вопросы были пронумерованы, а ответов не было: их ещё никто не задал.

Свидетель — рядовой охраны белых башен Кир, в розыске охраны, был на борту Сальдо в день дела.

Первое. Пилот, по акту ушедший с ним на катере, — ушёл ли пилот с ним на катере.

Второе. Кто лежал у кожуха насоса.

Третье. Чьё имя называл умирающий.

Я читал эти три вопроса и слышал голос в шлеме — частый, сбивчивый, с присвистом, как свистит воздух в подточенном седле клапана: воздух, Скорев, воздух. Рид звал меня, умирая. Звал по фамилии, как звал всегда. А солдат слышал это на общем канале, лёжа в темноте трюма с пулей Ланга в боку. Под жетонами Скорева лежал человек, который звал Скорева. Значит, под жетонами Скорева лежал не Скорев. Это мог сложить и узкий. Узкому для этого не нужно было видеть целое. Нужно было только задать солдату три вопроса.

Дальше лежала ведомость. Длинная, на нескольких листах, сшитых нитками, — ведомость движения ключей по делу Сальдо. Сначала касса — переведена у третьей башни по бумагам комиссара Пратта, возвращена с Сальдо в полном объёме за вычетом израсходованного. Потом — края. Края, снятые с кассы на Хайве, через мелких менял блоков, в те недели, когда я сидел в девяти метрах без окна над считывателем и лупой. Края записаны на Двоих — израсходовано Лангом и Кордом. Как я и задумывал. Как я и сделал.

А ниже была вторая графа. Движение этих ключей после смерти Ланга и Корда.

Оплата комнаты на Слейте — помесячно, полгода. Оплата угля. Оплата трёх контор долгого хранения при дальней связи на Кроссинге — на десять лет вперёд, тремя платежами в один день. Оплата комнаты здесь, над почтой, — помесячно, три месяца. Угля — здесь.

На полях, тем же мелким наклонным почерком: мёртвые не платят за хранение.

А под каждой строкой, у каждого из трёх ключей, — одна и та же пометка, короткая, как штамп: к изъятию через окно.

Я сидел на полу чужой комнаты, спиной к двери, с ведомостью на коленях, и складывал.

Мой акт треснул в трёх местах, и все три трещины сделал я сам. Ящик, тяжёлый, — я ехал в нём. Пилот, что звал Скорева, — я подточил ему клапан. Ключи, что платили за хранение после смерти тех, на кого их записали, — я платил. Я написал на сорока листах всё, что знал про Дом, сдал три копии в три конторы, чтобы Дом не посмел меня тронуть, и заплатил за хранение ключами мёртвых. Рычаг выдал себя квитанцией.

К изъятию через окно. Окно — это меняла у третьей башни. Изъять ключ можно только с шеи — с живой или с мёртвой. Мои ключи были при мне: один в подкладке куртки, у спины, другой в шкафчике на складе, под двойным дном, третий с прошлой ночи — в кармане. Значит, у них было предписание снять их с меня. Значит, этот сухой, с его второй парой ботинок, приехал сюда за моей шеей. Это я понял — и это я понял неверно, но об этом позже.

И пакет. Я думал о пакете дольше, чем о шее.

Пакет я адресовал в правление Меридиана, на Кобальт, лично. Я думал: правление — это верх. Те, кто списал меня по возрасту, кто платил Аутбаунду за вывоз, кто не знал,

что в обёртке, и кому будет не всё равно, когда узнает. Куда ложится в большой конторе бумага, в которой написано про пропавшие тягачи, про страховки, про убыль экипажей? Не на стол председателю. Председатель не читает про убыль. Бумагу про убыль несут в отдел убыли. Так устроена всякая контора — от склада железа до правления Меридиана: бумага идёт к тому, кто ведёт эту графу. Я тридцать лет носил бумаги по графам.

Значит, мой пакет, если я умру или замолчу, ляжет на стол седьмому месту. Тому, кто прислал этих троих. Тому, кто сидит в седьмой башне и по чьему поручению меня читают.

Рычаг, который должен был держать Дом, был адресован хозяину Дома.

Последним в папке лежал листок, вырванный из другой книги, — копия строки из книги срочных писем нижнего порта Хейвена. Отправитель — рядовой охраны Кир, в розыске. Срочно, оплачено втрое. Получатель — моё нынешнее имя, из списка уехавших. Адрес — этот город, эта почта. Рядом, мелким наклонным почерком: оплачено не отправителем.

Солдат шёл сюда по своему письму. А по его письму, по книге срочных писем, шли сюда эти трое. Письмо было не весточкой. Письмо было меткой.

Я сложил листы в том порядке, в каком они лежали. Завязал папку — бант, одна петля длиннее другой, правая. Положил под бельё. Закрыл ящик, повернул шпилькой замок, за-

двинул ящик под койку тем же углом к стене, каким он стоял. Встал. Посмотрел на комнату ещё раз — не на вещи, на то, как они лежат. Всё лежало, как лежало у этого человека. У человека, а не у вещи.

Кружка с остывшей водой стояла на полу у двери. Я взял её — человек с кружкой ищет, где сесть, — вышел, закрыл замок двумя гвоздями и спустился мимо кладовой в зал. Мальчишка-половой разносил похлёбку. Хозяйка поднималась из погреба с бутылью. Никто не смотрел на учётчика с кружкой.

Я сел у стены, допил свою холодную воду и закашлялся — долго, на весь зал, как кашляют те, у кого пепел сел глубоко.

В окно харчевни была видна улица. По ней прошёл солдат — от порта к рудничной ветке, прямо, как по плацу, туда, где вчера нашли сторожа. Солдаты ходят туда, где умирают: смотреть, как лежало. Через сотню шагов за ним по другой стороне прошёл крепкий с газетой, не глядя на него. Солдат вёл свой поиск, а вели его самого. Я поставил кружку, бросил медяк мальчишке-половому и вышел другой стороной улицы, вдоль стен, как ходят в пыльный час, хотя до пыльного часа было ещё далеко.

Потом пошёл на склад, сел в будку и раскрыл книгу. До конца смены я написал в ней шестнадцать строк, все про железо, и ни разу не посмотрел на улицу.

Я думал о трёх ключах, которые держал на себе и при себе, порознь, как учил Чиф. О сорока годах тихой жизни, ко-

торые на них лежали. О пакете, который лежал в трёх местах и который я сам вложил в руки тому, от кого его прятал. О почтарке, что лежала теперь в холодной у лекаря, с очками на шнурке, положенными ей на грудь, — сам видел утром. О стороже под породой. И о том, кто убрал их обоих за одну ночь, пока сухой с его папкой спал в своей чистой комнате над харчевней. Он об этом не знал — я видел его утром у запертой почты. Узкие не знают, что делает конвой.

Конвой предоставлен советом. Не седьмым местом — советом. Седьмое место дало ревизора. Конвой дал кто-то другой.

Это я тоже вписал с вопросом.

А первую строку того дня я вписал без вопроса — потому что вопросов в ней не было. Только сумма.

Мёртвые не платят за квартиру. Я заплатил за десять лет вперёд.

Глава 92. Кран

Записку солдату я написал той же ночью, у себя, при свече, заслонив её ладонью от окна во двор.

Говорить я не мог — не потому, что болело горло, а потому, что голос был единственным, что солдат обо мне знал. Значит, писать. Писал я печатными буквами, как пишут на ящиках, — крупно, без наклона, без завитушек, левой рукой, которой и так писал всё с тех пор, как сварил правую на Профите. Печатные буквы у всех одинаковы, как одинаковы трафаретные номера на бортах. Почерк я спрятал так же, как спрятал голос.

Двое с чемоданами — те, что считали жетоны на Сальдо. Один сказал тогда: пусть идёт, не стрелять. Послушай его голос.

Больше ничего. Ни имени, ни подписи, ни того, кто пишет. Солдат ищет голос — я дал ему голос. Чужой.

Где солдат ночует, я знал от возчиков. В харчевне у почты говорили, что приезжий занял барак за рудничной веткой, тот, где жил сторож: барак стоял пустой, дверь не запиралась, никто не спрашивал. Солдаты спят там, где свободно, и не боятся мёртвых, потому что мёртвые на постой не просятся. Я дошёл туда задами, по золе, после полуночи, когда лёг ветер, и сунул записку под дверь. Внутри было тихо — так тихо бывает там, где спит человек, который умеет спать без звука.

Я постоял, сколько нужно, чтобы убедиться, что тишина не изменилась, и ушёл.

Обратно я шёл мимо поворота у отвала. Вагонетка, в которой нашли сторожа, стояла там же — опрокинутая, кузовом набок, и порода под ней была разрыта ломами и брошена, как бросают яму, из которой вынули то, что было нужно. Клин лежал рядом в пепле. Я не остановился. Останавливается тот, кому есть что сказать мёртвым. Мне было нечего. Сторож рассказал бы им про меня всё, что знал, — с удовольствием, не со зла, а оттого, что любил рассказывать. Таких на свете больше, чем злых. От злых я научился прятаться ещё на Даунсайде. От болтливых не спрячешься. Их можно только пережить.

Утром сухой пришёл на склад железа.

Он шёл по улице от первого причала, с портфелем под локтем, и за ним, на шаг сзади, шёл крепкий — один из двоих, тот, у которого на подбородке был старый шрам, белый, как трещина в эмали. Второго с ними не было. Второй с утра опять шёл за солдатом.

У ворот склада крепкий остановился. Сухой вошёл один. Конвой остался смотреть на улицу. Конвою положено смотреть туда, откуда придут, а не туда, куда ушёл тот, кого конвоируют. Так охраняют те, кого учили охранять, а не думать.

Старший учётчик встретил сухого у конторы, выслушал, кашлянул и отдал его мне. Учётчик на приёме, сказал он сухому, — вот он, простуженный, говорить не может, но книги

особых ящиков ведёт он, а писать он может. Сухой посмотрел на меня тем взглядом, каким смотрят на шкаф, из которого надо взять папку.

— Книги приёма за полгода, — сказал он. — Ящики с отметкой. И ваши отметки о выдаче.

Голос у него был такой, какой я и ждал: ровный, сухой, без цвета, — голос человека, который весь день читает и вечером говорит, только чтобы спросить. Узкий голос.

Я принёс ему книги в контору, разложил на столе по месяцам, нашёл страницы, отметил закладками. Он сел, раскрыл портфель, достал тетрадь и перо и стал читать. Читал он так, как я видел на первом складе через окно: не сколько, а откуда. Палец его шёл по графе, где ставилась отметка о том, откуда пришёл ящик и кто его забрал, и останавливался на каждой строке, где вместо номера подводы стояла пустая клетка. Таких строк было семь. Он переписал все семь, не торопясь, своим мелким наклонным почерком, — тем самым, что писал на полях: мёртвые не платят за хранение.

Потом спросил, не поднимая головы:

— Кто забирает?

Я написал на краю его листа: подвода без номера, возчик без имени, раз в два-три месяца, по записке.

— Чья записка?

Я пожал плечами и написал: на записке та же отметка, две черты и точка, записки берёт старший.

Он посмотрел на мою строку, потом на меня — так, как

смотрят на подпись, которую надо запомнить, — и переписал и это. Узкий человек переписывает всё, что ему написали, даже ответ, который ничего не отвечает. Ответ, который ничего не отвечает, — тоже строка.

Потом он поднял голову.

— Распишитесь, что выдали книги ревизору, — сказал он и положил передо мной лист.

Я взял перо левой рукой и расписался. Своей подписью, нынешней, из списка уехавших, — той, что стояла в книге срочных писем на почте, под строкой с Хейвена. Другой подписи у меня здесь не было. Учётчик, что расписывается не так, как расписывался вчера, — это не учётчик, а беглец.

Сухой взял лист, посмотрел на подпись. Потом, не меняясь в лице, открыл свою тетрадь на другой странице — я видел краем глаза: там была перерисованная аккуратно, как рисуют картинку, строка из почтовой книги — и посмотрел туда. И обратно. Сличил. Лицо его не изменилось. Узкие люди не меняются в лице, когда сходится: им не за что. У них сходится всё, что положено, и не сходится всё, что не положено, и то и другое — только запись.

Он закрыл тетрадь, убрал её в портфель и сказал:

— Ящики с отметкой на складе есть сейчас?

Я кивнул и показал рукой во двор — в дальний угол, к навесу у забора, где стояли под рогожей четыре ящика, пришедшие с последним бортом, без номеров, с двумя чертами накрест и точкой, выжженными в углу.

— Покажите, — сказал он и встал.

Тогда я и посчитал его до конца.

Он знал, кто я. Сличил подпись — и знал. Он не сказал ничего, потому что говорить было не его делом: его дело — записать, а брать будет тот, кому положено брать. Конвой у ворот. Сегодня ночью, или завтра, или на борту, через три дня, — когда сухой допишет, что ему нужно, и отдаст свою тетрадь тем, кто его прислал. В тетради будет: получатель срочного письма от свидетеля — учётчик склада железа, подпись сходится, ключи, записанные на Двоих, оплачивают его комнату, ящик с Сальдо ехал не пустой. Тетрадь поедет на Кобальт, на стол седьмому месту. Не конвою — седьмому месту. Конвой убирал тех, кто знал моё лицо; сухой записывал то, что знал сам. Двое и один. Конвой меня прятал, а ревизор — нашёл.

Ревизор, который нашёл, — это строка, которую можно вычеркнуть. Тетрадь без ревизора — бумага, которую конвой заберёт себе, если конвою так надо. А конвою, судя по прошлой ночи, было надо.

Я вышел из конторы первым и пошёл через двор — не прямо к навесу, а вдоль конторы, к своей будке у ворот. Сухой шёл за мной, глядя в тетрадь, которую снова достал на ходу. Узкий человек не смотрит под ноги и не смотрит вверх: он смотрит в то, что для него важно.

Над двором гудела плита. Крановщик в стеклянной будке наверху вёл её от штабеля прутка к тележке на рельсах

у дальней стены. Пакет висел на плите, как всегда, — ровно, ничем не привязанный, длинный, тяжёлый, в два десятка прутков, стянутых проволокой, и плита гудела так, как гудит трансформатор, и пока гудела — держала.

Путь плиты я знал наизусть, как знал путь каждой вещи на этом складе. От штабеля к тележке плита шла над серединой двора, над той дорожкой, по которой ходили все, кто шёл от конторы к навесу в дальнем углу. Крановщик кричал сверху, когда видел внизу человека. Внизу пригибали головы и шли, не останавливаясь.

У будки я остановился и показал сухому рукой: идите, я догоню, — и похлопал себя по карману, где будто бы лежал ключ от навеса. Он кивнул, не поднимая глаз от тетради, и пошёл дальше один — по дорожке, через середину двора, к навесу в дальнем углу.

Рубильник плиты был на щитке у ворот, в трёх шагах от двери моей будки. Щиток был старый, крашенный в грязно-зелёный, с горелыми контактами, и раз в неделю плита и так вздрагивала и роняла гул на миг, когда контакты сами теряли друг друга, — крановщик тогда ругался сверху на всю улицу, а старший учётчик писал в книгу: перебой тока, просить мастера. Мастера не присылали. Мастер был на всю тихую линию один.

Крепкий со шрамом стоял за воротами, у створки, спиной ко двору, и смотрел на улицу.

Сухой дошёл до середины двора. Крановщик увидел его

и закричал сверху — слов в гуле не было слышно, только рот, открытый в стекле. Сухой не поднял головы. Он что-то записывал на ходу.

Я положил руку на рубильник.

Я не думал в эту секунду ни о чём, кроме веса. Двадцать прутков, длина, высота, скорость плиты. Человек — тот же груз: у него есть вес, центр тяжести и место, где он стоит. Пратта я ставил под тяжёлый торец контейнера на Кроссинге, и для этого мне нужен был перегнутый строп и короткая нога, и бригадный, и смена. Здесь не нужно было ничего. Здесь нужна была рука на рубильнике и секунда.

Я выключил ток.

Гул оборвался, как обрывается дыхание. В тишине, которой во дворе не бывало никогда, я услышал, как скрипнуло перо сухого, — он ещё писал, — и как наверху крановщик ударил кулаком по стеклу. Пакет пошёл вниз ровно, не перевернувшись, плашмя, как идёт вниз всё, что держали и перестали держать.

Я включил ток раньше, чем пакет перестал звенеть.

Плита наверху снова загудела — пустая, над пустым местом. Прутки ещё перекатывались, звеня, по пеплу, разъезжаясь веером, и один, самый длинный, медленно, как стрелка, повернулся и лёг поперёк дорожки. Сухого под ними не было видно. Был виден портфель — он отлетел в сторону, к рельсам, и лежал раскрытый, и ветер, что как раз начинал подниматься к полудню, листал в нём страницы.

Крановщик орал наверху. Молодой учётчик с тетрадью, что мёл у конторы, уронил метлу и стоял, раскрыв рот. Из конторы выбежал старший учётчик, кашляя на бегу. Из навеса с листовым железом вышел лысый, посмотрел и ушёл обратно, будто ничего не случилось, — он и правда не любил, когда что-нибудь случается.

Я выбежал из будки вместе со всеми — немолодой простуженный учётчик, с шарфом на горле, с ключом от навеса в руке, — и встал там, где встали все, в трёх шагах от прутков, и закашлялся.

Крепкий со шрамом вбежал в ворота на третьей секунде. Он посмотрел на прутки — один раз, коротко, как смотрят на то, что уже ясно. Потом посмотрел на нас всех — на старшего учётчика, на молодого, на крановщика, что спускался по лестнице, на меня — тоже один раз. На мне его взгляд не задержался. Учётчик с ключом в руке, кашляющий, — это учётчик.

Потом он сделал то, что я запомнил лучше, чем прутки.

Он не пошёл к сухому. Он пошёл к портфелю. Поднял его, собрал ветром листанные страницы, сложил, закрыл, сунул под мышку — так же, как носил его сухой, локтем к боку. И только тогда, с портфелем под мышкой, подошёл к прутким и наклонился, чтобы пощупать жилу на шее, торчавшей из-под железа.

Конвой знал, что ему важнее. Сначала бумаги — потом человек. Тетрадь — потом жила.

Жилу он щупал недолго. Выпрямился, оглядел двор ещё раз и пошёл к воротам — за лекарем, сказал он старшему учётчику, первое слово, что я от него услышал, — и в воротах задержался у щитка. Посмотрел на рубильник, на горелые контакты, на облупленную вокруг ручки краску. Конвойный на месте несчастья смотрит туда же, куда смотрят все: на причину. Причина была старая, горелая и сходилась с тем, что кричал крановщик. Он пошёл дальше.

Лекарь от порта пришёл через полчаса, в том же пальто, что вчера, только на этот раз поверх рубахи. Прутки разбирали ломами вчетвером. Лекарь посмотрел, вытер руки и сказал то же, что говорил вчера, другими словами: голова, сразу, не мучился. Крановщик, белый, клялся всем, кого видел, что ток пропал сам — как пропадает раз в неделю, — что он кричал, что приезжий не поднял головы, что он, крановщик, двадцать лет на этом кране и такого не бывало, а бывало только, что плита вздрогнет и снова держит. Старший учётчик сел в конторе писать акт. Писал долго, кашляя, и по его просьбе я принёс ему книгу, в которой на полях за последний год было записано восемь раз: перебой тока, просить мастера. Он переписал все восемь в акт.

Акт вышел такой: при переносе пакета прутка магнитным краном произошёл перебой тока, по причине износа щитка, о чём неоднократно сообщалось; приезжий ревизор, несмотря на предупреждение крановщика, зашёл в зону работы крана сам; смерть на месте; ревизора опознал его сопровож-

дающий. Сопровождающий акт подписал. Подписывая, он положил портфель на колени, а не на стол.

Это была первая смерть на этом пепельном мире, сделанная моей рукой. Я не считал её ни первой, ни последней. Я считал её так, как считают груз, принятый по акту: в графу, в которую она легла. Ревизор. Записывал то, что знал. Кран.

Гула плиты над двором до вечера никто не замечал — к нему привыкают на второй день.

После обеда пришёл пыльный час. Пыльные ворота закатили, двор занесло, в окне будки стало серо. Я сидел над книгой и считал, сколько у меня есть до того, как кто-нибудь начнёт считать меня. Сухой мёртв, тетрадь у конвоя. Конвой меня прятал. Солдат ищет голос, а я его спрятал. Почтарки нет. Сторожа нет. Учётчик с простуженным горлом, с левой рукой и с глазами в пол — один из четырнадцати. Три дня до борта, может, неделя до того, как сюда пришлют вместо сухого другого сухого. Хватит, чтобы уйти не бегом, а в очередь, по бумаге, как уходят учётчики, что нашли место получше.

И ещё одна строка не давала мне закрыть счёт. Конвой поднял портфель раньше, чем пощупал жилу. Значит, бумаги ревизора конвою были нужнее ревизора. Значит, эти бумаги пойдут теперь не туда, куда пошли бы с живым ревизором, — не на Кобальт, не на стол седьмому месту. А куда — я не знал. Я убрал ревизора для себя. Кому ещё я его убрал, мне предстояло узнать.

Пыльный час кончился, как кончается всегда, — сразу. Ворота откатили. Двор лежал ровный, серый, и прутки, сложенные обратно в штабель, были серыми, и пятно на дорожке было серым — пепел ложится на всё одинаково.

В дверях будки, против света, стоял солдат.

Он не постучал. Солдаты не стучат в двери, которые открыты. Он стоял, загородив собой проём, высокий, в тесной куртке, с рукой у бока, и держал в другой руке две бумажки. Одну — ту, что я написал ему на колене в первый день: горло, извините. Другую — ту, что сунул ночью под дверь барака. Он держал их рядом, край к краю, как держат две половинки одного билета.

Бумага была одна и та же. Обрывки одной и той же накладной, из одной книжки, что лежала у меня в кармане: те же синие линейки на обороте, тот же рваный край, та же печатная строчка внизу, мелко, в углу, которую я не видел, потому что на неё не смотрят, — склад железа у третьего причала.

Читать бумаги его не учили. Сличать две бумажки, одинаковые, как два патрона из одной коробки, — учили.

— Ты Виктор, — сказал он.

Голос я спрятал. А бумагу взял свою.

Глава 93. Ноль

Простужаться дальше было не для кого. Голос мой солдат знал, а меня теперь знал и без голоса.

— Закрой дверь, — сказал я ему. Своим голосом, ровным и скучным, тем самым, каким говорил на кладбище: не оборачивайся. Тише, чем говорил тогда, потому что за стеной будки, в конторе, кашлял старший учётчик.

Солдат вошёл и закрыл дверь. В будке стало тесно — она была рассчитана на одного учётчика и одну книгу, а не на солдата, что загораживал собой окно. Он не сел. Стоял у двери, спиной к ней, и смотрел на меня сверху вниз — долго, так, как, наверное, смотрел на мать, когда она перед смертью писала ему про тихого человека, что ждёт тёплого берега. Только без того, что было в его глазах тогда. Я видел этот взгляд издали на похоронах. Вблизи он был тяжелее.

— Так говорил на кладбище, — сказал он. Не спросил. Сличил, как сличал бумажки.

— Так.

Он помолчал. Потом рассказал сам — коротко, по-солдатски, как докладывают. Записку нашёл утром под дверью. Прочёл. Вышел на улицу, увидел того, с газетой, что второй день ходил за ним по другой стороне и думал, что его не видят. Перешёл улицу, подошёл вплотную и сказал: скажи что-нибудь. Тот опустил газету и сказал: ты ошибся, солдат, сту-

пай. Голос был тот. Ровный, сухой, без голоса. Тот, что сказал в тёмном трюме Сальдо, когда он, Кир, уходил к кормовому шлюзу с пулей в боку, слыша за спиной шаги чистильщиков: пусть идёт, не стрелять.

— При людях не бьют, — сказал Кир. — Я ушёл.

— Они отпустили тебя тогда, чтобы ты дошёл.

— До тебя?

— До кого-то. До меня — тоже.

Он посмотрел в окно будки, на двор. На кран, на плиту, на штабель прутка, сложенный обратно.

— С портфелем — ты?

Я кивнул.

— Кран, — сказал он, будто запоминая слово. — Ты умеешь.

Это было не похвалой и не упрёком. Это было то же, что он сказал бы про сапёра, который умеет ставить мины, или про повара, который умеет резать. Он запоминал, что я умею, как запоминают на посту, где у соседа слабое место.

— Письмо, — сказал он. — Я тебе слал.

— Его забрали. Ночью, из моей комнаты. Те же, что почтарку.

Челюсть у него стала каменной, как у матери, когда она молчала, чтобы не сказать лишнего. Он ничего не ответил.

— Они придут за тобой, — сказал я. — Не за мной. Ты дошёл, куда тебя вели. Ты им больше не нужен. А ты знаешь их голос — и они это знают с сегодняшнего утра, с га-

зеты. Солдат, что знает голос, — свидетель. Свидетелей они закрывают. Двоих на этой улице закрыли за одну ночь.

— Когда?

— В пыльный час. Завтра. Сегодня им надо похоронить ревизора и подписать акт. Завтра в пыльный час на улице никто ничего не видит. Так они убрали бы и тебя, и любого.

— А тебя?

Тогда я и сказал ему то, чего сам ещё не знал наверное.

— Меня, кажется, нельзя.

Он посмотрел на меня ещё раз — сверху вниз, долго — и не спросил почему. Солдаты не спрашивают, почему кого-то трогать нельзя. Им говорят — нельзя, и они не трогают. Или говорят — можно.

Ночь он провёл на складе, в навесе с листовым железом, на рогожах, — лысый учётчик, уходя, оставил навес незапертым, как оставлял всегда, потому что листовое железо не крадут: его не унесёшь под рубахой. Я ночевал в своей комнате над закрытой почтой — с кружкой на подоконнике ручкой влево, без письма под ней, — и спал так, как спал на Профите, одним ухом.

Никто не пришёл.

Утром на складе всё было как всегда, только без сторожа и без ревизора. Плита гудела над двором, крановщик ругался сверху. Старший учётчик сказал, что в харчевне у порта хозяин ходит злой: приезжие страховые за три дня не заплатили, ревизор лежит в холодной у лекаря рядом с почтаркой,

а двое других вчера весь вечер просидели внизу в зале и ничего не пили. Люди, что сидят в харчевне весь вечер и не пьют, ждут.

Я знал, чего они ждали. Ждали, пока ветер встанет.

Пыльный час пришёл после полудня, как всегда, — сперва гулом в проводах, потом серым светом, потом стеной. Молодой с тетрадью и лысый закатили пыльные ворота: тяжёлые створы, на роликах по рельсу, сходились посередине и запирались на засов изнутри, а в одной створе была калитка, через которую ходили, пока ворота закрыты. Кран встал. Крановщик спустился и ушёл в контору пить горячее. Двор опустел. Пепел бился в ворота снаружи, как бьётся в шлюз вода, и в щели под створами вползал во двор серыми языками.

Кир был во дворе. Стоял у штабеля прутка, в десяти шагах от ворот, спиной к штабелю, без куртки, в одной рубахе — куртка мешает рукам, сказал он утром. Я сидел в будке у ворот, у самого засова. Механизм ворот я знал так же, как знал всё на этом складе: засов, ролики, рычаг, которым створы раскатывали в стороны, когда хотели пустить во двор подводу. Рычаг был у будки. Рычаг на складе стоит там, где стоит учётчик: учётчик пускает подводу, учётчик её и записывает.

Калитка открылась в первую четверть часа.

Они вошли вдвоём, быстро, один за другим, и закрыли калитку за собой, чтобы пепел не бил в спину. Без чемоданов, без плащей, в тёмных куртках, перехваченных поясами. Тот,

что со шрамом, — впереди. Тот, что с газетой, — старший, — на два шага сзади. Так ходили Ланг и Корд. Так ходят все, кто ходит парой по таким делам, — их учат в одной школе.

Тот, что со шрамом, прошёл мимо моей будки в шаге от окна и не посмотрел на меня. Не потому, что не видел. Видел — и не посмотрел, как не смотрят на то, чего не велено видеть. Учётчика не было. Учётчику было велено не быть.

Они увидели Кира у штабеля и пошли к нему — неторопливо, расходясь в стороны, как расходятся те, кто берёт одного вдвоём, чтобы он не мог смотреть на обоих сразу.

Я поднял засов и налёг на рычаг.

Створы пошли в стороны не сразу — ролики скрипнули, застряли на пепле, потом сорвались и покатились, и между створами открылась щель, сперва в ладонь, потом в руку, потом в человека. И в эту щель вошёл пыльный час.

Он вошёл не ветром. Он вошёл стеной — серой, плотной, горячей, как входит вода в отсек, когда открываешь шлюз не с той стороны. Двор исчез. Штабель исчез. Кран исчез, и плита, и навес, и контора. Я видел свою руку на рычаге и больше не видел ничего. Пепел забил рот, глаза, нос. Ветер выл в проводах над двором так, что глох собственный кашель — настоящий, не тот, что я кашлял три дня для почтарки.

В пыльный час на улице никто ничего не видит. Это знали и они — потому и пришли в пыльный час. Только они пришли в пыльный час с улицы, где идут вдоль стен, держась за

них рукой, а оказались в пыльном часе посреди двора, где стен нет. Пыльный час был их ремеслом на улице. Во дворе он стал ремеслом того, кто слышит.

Солдат слышит движение. Я сам написал это про него три месяца назад, когда сидел над его письмом и считал. Солдат слышит движение даже в пыльный час, хуже, чем днём, но лучше, чем те, кого учили смотреть.

Я не видел ничего из того, что было дальше. Я слышал.

Короткий звук — тупой, как удар мешка о мешок. Потом голос, чужой, сорванный, — тот, со шрамом, крикнул что-то, одно слово, и слово оборвалось на середине. Потом железо — звонкое, долгое: кто-то упал на штабель прутка, и прутки поехали, как ехали вчера, только тише. Потом долго ничего, только ветер. Потом хрип — не ветер, человек, — и в хрипе голос, который я узнал бы из тысячи, потому что слышал его в шлеме на Сальдо, когда лежал в прессе: ровный, сухой, без голоса. Только теперь в нём был голос.

— Пусть идёт, — сказал Кир где-то в сером, в трёх шагах от этого хрипа или ближе. Сказал ровно, будто повторял урок. — Я пошёл.

Хрип кончился.

Я свёл створы обратно, когда стена пепла чуть поредела, — минут через десять, может, через пятнадцать, — свёл и запер засов. Двор лежал под пеплом по колено, ровный, серый, как Дамп после выгрузки, и посреди двора, у развалившегося штабеля, стоял солдат, весь серый, с серыми руками,

и у ног его лежало два серых бугра.

Он не дышал тяжело. Солдаты после работы не дышат тяжело — этому их тоже учат.

В конторе кашляли и звенели кружками. Никто не вышел. В пыльный час не выходят.

Я подошёл к тому, что был старшим, и обыскал его. Не так, как обыскивал вещи Пратта, — быстро, как обыскивают на Дампе мёртвых, пока не пришёл приёмщик: шея, пояс, карманы, подкладка. На шее жетона не было — такие не носят жетонов, их считают по-другому. На поясе — нож, которого он так и не вынул. В левом кармане куртки — сложенный вчетверо лист, по старым сгибам, затёртый по краю. В правом — записка.

Записку я взял первым. Солдат стоял ко мне боком, смотрел на ворота, слушал улицу — не идёт ли кто. Бумажка была серая, конторская, свёрнутая в трубочку, и почерк на ней я знал. Мелкий, ровный, без завитушек, как пишут накладные. Тот, что был на записке под моей дверью на Слейте: соболезную вашей кончине.

Учётчика не трогать.

Три слова. Без подписи, без даты, без печати. Как приказ на посту.

Я свернул её обратно в трубочку и сунул себе в рукав, к запястью. Солдату — не показал.

Конвой, который дал совет, а не седьмое место, был его. Люди Поверенного. Они пришли сюда с ревизором седьмого

места, чтобы ревизор нашёл то, что ему положено найти, — и не нашёл того, что не положено. Они убрали почтарку и сторожа, потому что те могли показать ревизору моё лицо. Они пришли за солдатом, потому что солдат мог ответить ревизору на три вопроса. А ревизора они убрали бы тоже — потом, по-своему, и списали бы на солдата, на дезертира, что убивает на дрейфующих бортах. Их тетрадь пошла бы не на Кобальт, а в руки, которые писали эту записку.

Ревизора я убрал за них. Краном, по акту, без единого следа. Бесплатно. Они только подняли портфель.

Меня здесь берегли. Не как человека — как вещь, что ещё понадобится. Наживку берегут, пока не клюнет, — сказал мне Поверенный в столовой у четвёртого причала. Я думал тогда, что он говорит о прошлом.

Второй лист солдат достал сам. Он нагнулся к тому же карману, левому, — увидел, видно, угол, — вытянул лист, развернул, посмотрел. Её письмо. Её крупные прямые буквы, а ниже — его, тяжелее. Он сложил лист по старым сгибам и положил передо мной на пепел, у моих ног, как кладут на стол.

— Подал, — сказал он.

Я поднял письмо и убрал во внутренний карман, к ключу, что лежал там с позапрошлой ночи.

— Кто, — сказал он. Не спросил. Потребовал, как требуют на посту пароль.

Я назвал ему всё, что можно было назвать, — по порядку,

как называют по описи.

Двое — Ланг и Корд. Мертвы. Одного он задушил сам, другого убили свои.

Пилот, что дал знак в ту ночь, — Рид. Мёртв. Лежит на Сальдо у пустого кожуха насоса. Это он звал меня, умирая. Солдат слышал.

Жилец, вежливый, в сером, что носил её письма на почту и читал их. Жив. На той планете, в той гостинице верхних кварталов, где сидел каждое утро с чашкой.

Дом, который её смерти не заказывал, но и не мешал. Жив. Весь.

Про пять дней, когда я смотрел на неё из угла наискосок и не подошёл, потому что подход был петлёй, я промолчал. Это была моя строка, не его.

Солдат слушал, глядя на ворота. Когда я кончил, он сказал одно слово:

— Жилец.

И стал стаскивать мёртвых к навесу с листовым железом, по одному, за воротники, как стаскивают мешки.

Ночью мы отвезли их к отвалу. Вагонетку брали у поворота, пустую, ту самую. Он толкал, я шёл впереди и держал фонарь с заслонкой — тот, что был у них, я нашёл у старшего за поясом. На повороте я выбил клин. Кузов лёг набок, и двое ушли под откос, в серую породу, как уходит туда всё, что вываливают с рудников, и утренняя смена вывалит поверх них ещё десять кузовов, не заглянув. Отвал принимает

всё, как принимала траншея на Дампе. Таких не считают. Их числят убылью.

Потом я пошёл в харчевню у порта, поднялся на галерею — там не спали, там было пусто — и открыл двумя гвоздями две двери. В чемоданах я нашёл то, что и думал найти: оружие, бельё и связки ключей на расходы, по одной в каждом. Портфель ревизора лежал в чемодане того, что со шрамом, на самом дне. Ключи я взял. Портфель взял. Оружие оставил: я им не пользуюсь. Портфель сжёг утром в печке склада железа вместе с сырыми накладными, и старший учётчик сказал, что от сырых накладных дыма больше, чем тепла.

А ночью, вернувшись к себе, я сделал то, чего не делал три месяца, — достал считыватель.

Он был тот самый, с Хайва, купленный для кассы Сальдо: я возил его в сумке с тех пор, как ушёл с Хайва, завёрнутым в рубаху. Я не включал его ни разу с тех пор, как закончил кассу. Жил на жалованье. Платил за комнату и за уголь, не глядя, с ключа, который носил в подкладке, — как платят все, кому есть чем платить: не глядя. Ключи лежали на мне, при мне и у меня, и этого было довольно.

К изъятию через окно, писал сухой на полях у каждого из трёх.

Я вставил первый — тот, из подкладки.

Пусто.

Не мало — пусто. Не битый край, не оплавленная часть, до которой не дотянуться, — чистый ключ, целый, исправ-

ный, на котором не было ничего. Ни крошки. Будто его только что выдали в окне новым.

Второй — тот, что из шкафчика на складе. Пусто.

Третий — из-под половицы, с позапрошлой ночи в кармане. Пусто.

Тогда я понял пометку на полях так, как надо было понять её сразу. Окно — это меняла у третьей башни. Меняла не снимает ключей с шей. Ему это не нужно. Края своей доли я снимал через мелких менял блоков на Хайве — тех, что меняют ключи за особые блоки, а менялы блоков — сеть Дома, как и всё в этом коридоре. Ключи, что делает Дом, — его ключи. Экипажам Дом платил ключами, а с мёртвых шей их снимал. С живых — тоже может, через окно, не снимая. Деньги Дома всегда возвращаются домой.

Сорок лет тихой жизни лежали у меня на трёх ключах порознь, как учил Чиф. Порознь — от вора, от пожара, от потери. Не от того, кто сделал ключ.

Я сидел над пустым считывателем в комнате над закрытой почтой, где внизу, в холодной у лекаря, лежала почтарка с очками на груди. Пересчитал всё, что у меня было, по строке, как пересчитывают остаток на складе после пожара. Жалованье учётчика за полмесяца. Две связки расходных ключей — мёртвого конвоя. Письмо мёртвой женщины. Кружка с чужим именем. Солдат в навесе с листовым железом, что завтра пойдёт искать жильца. Записка в рукаве: учётчика не трогать.

Мне было шестьдесят, и у меня было ноль. Как на Даунсайде десять лет назад — только без контракта.

Глава 94. Расходные

Уходил я по бумаге, как уходят учётчики, а не беглецы.

Утром я написал старшему учётчику в книге, на полях, своим обычным мелким почерком: ухожу, зовут к родне на рудники соседней системы, место там нашлось получше, прошу расчёт за полмесяца. Старший прочёл, покашлял своим сухим кашлем и сказал, что учётчики уходят, как железо, — по накладной, и что за двадцать лет он их перевидал больше, чем прутка, и ни один не вернулся. Он отсчитал мне жалованье за полмесяца, честно, до медяка, и не спросил, почему простуженный, что три дня не мог сказать слова, уезжает как раз тогда, когда склад остался без сторожа и с мёртвым приезжим в акте. Не потому, что не думал об этом. Потому, что думать об этом было не его графой.

Лысый учётчик, проходя мимо будки, впервые за три месяца сказал мне что-то, кроме слова железо. Он сказал: правильно. И ушёл к своему листу.

Хозяйке комнаты я заплатил вперёд за неделю, которую уже не проживу, — человек, что платит за то, чего не проживёт, уезжает не насовсем, а ненадолго, и о нём не спрашивают. Кружку завернул в рубаху и положил в сумку ручкой влево. Письмо — во внутренний карман, к пустому ключу. Считыватель — на дно, к шарфу. Записку из рукава — к письму. Больше у меня ничего не было. За шестьдесят лет

я так и не научился иметь больше, чем помещается в одну сумку. Теперь это пригодилось.

Рудовоз стоял на втором поле порта — длинный, низкий, ржавый, как всё, что возит руду. Он ходил к рудникам соседней системы раз в неделю, брал железо и людей, а возвращался с порожними вагонетками и пустыми кузовами. Пассажирских мест на нём не было. Были места для смены — нары в трюме за переборкой, где рудокопы спали по дороге на рудник. Я купил место на нарах по бумаге учётчика, что едет к родне на рудник. Солдат нанялся грузчиком на погрузку и в последний час просто не сошёл с борта, как не сходят грузчики, которым надо на рудники и которым нечем платить.

Расплатился я за нары расходным ключом мёртвого конвоя.

Над этим я думал ночью, сидя над пустым считывателем, и решил быстро, как решают то, что всё равно придётся решить. Связки на расходы, что лежали в чемоданах, были не их — их не носят люди, которые ходят парой по таким делам, им их выдают. Выдал их тот, кто писал записку в трубочку. Ключи Дома. Всякий шаг, что я на них сделаю, — строка в его книге: рудовоз, нары, пересадка, харчевня. Тратить с них — значит писать ему, где я.

Я тратил. Писать ему было уже всё равно. Он и так читал. Он читал меня с Дампа — по меченой фамилии, по ключам, по смотровой части кассы, по сплетням, по почте. Если че-

ловек читает всё, что ты пишешь, глупо писать тайком. Надо писать то, что ты хочешь, чтобы он прочёл.

Рудовоз шёл к рудникам шесть суток. В трюме за переборкой спали двенадцать рудокопов, пили, играли в кости и не смотрели ни на учётчика, что кашлял по старой привычке в рукав, ни на грузчика, что спал на нижних нарах у самой двери без звука, лицом к двери, как спят те, кого учили спать на посту.

На вторые сутки один из рудокопов, молодой, с белыми от пыли бровями, позвал солдата к костям — сыграть на пайку. Солдат посмотрел на него, как смотрят на столб, и не ответил. Рудокоп пожал плечами и вернулся к своим. Другой рудокоп, постарше, кашлял на верхних нарах так, как не кашляют от пепла: глубоко, с хлюпом, сплёвывая в тряпку что-то тёмное, и тряпку прятал, чтобы не видели свои. Рудники списывают людей быстрее кольца. На кольце списывают по возрасту, на рудниках — по лёгким. Через год этот рудокоп будет строкой в книге смены: выбыл. Я посмотрел на него и подумал, что он, может быть, ровесник солдату, и что солдату это всё равно, и мне тоже. Рудники считают свою убыль сами.

Говорили мы мало. На третьи сутки, ночью, когда рудокопы храпели, солдат спросил, не поворачивая головы:

— Жилец где?

— Там, где была она. В той же гостинице верхних кварталов, где сидел каждое утро с чашкой.

— Сначала туда.

— Сначала на Кроссинг.

Он помолчал.

— Зачем.

— Там лежит моя бумага. Её нельзя оставлять там, где она лежит.

Он помолчал ещё. Потом сказал то, что я потом не раз вспоминал — за то, что в этой фразе было больше договора, чем в иных бумагах, что я подписывал:

— Твоё — твоё. Моё — моё. Ты даёшь имена. Я даю руки.

— Договорились.

Больше мы об этом не говорили.

На рудниках соседней системы мы пересели на попутный грузовоз до Кроссинга. Попутный шёл восемь суток, через две пересадочные станции, и на каждой я платил ключом конвоя за воду, за паёк, за место, и на каждой думал о том, что в чьей-то книге появляется новая строка. Пусть. Ревизор седьмого места лежал в холодной у лекаря на пепельном мире, рядом с почтаркой. Его тетрадь сгорела в печке склада железа. Седьмое место ждало от него тетрадь — и не дождётся. Пройдёт месяц, пока оно поймёт, что ревизор не вернётся, ещё месяц, пока пришлёт нового. У меня было два месяца — на то, чтобы седьмое место, когда пришлёт нового, не нашло ничего, что можно сличить.

Сличить можно было многое. Но больше всего — лицо.

Моё нынешнее лицо на всём кольце знали двое. Поверен-

ный, что сидел напротив меня в столовой у четвёртого причала, — его я убрать не мог: он был далеко, высоко и всё ещё нужен мне живым, потому что про него одного я знал, зачем он меня бережёт. И бумажник с улицы часовщиков на Кроссинге, что делал мне бумаги под новое лицо, после того как старый лекарь сломал мне нос и опустил брови. Бумажник снимал меня на карточку, вклеивал карточку в книжку, сверял нос с носом и бровь с бровью. Где-то в его ящике, если он был хорошим бумажником, лежала вторая карточка. Хорошие бумажники держат вторую — на случай, если придёт тот, кто заплатит за неё больше, чем заплатил ты.

Тот, кто заплатит больше, придёт от седьмого места. Не завтра — через два месяца. Но придёт. Так приходили Двое к мастеру омоложения на растущей планете и спрашивали про клиента, что сбросил пять лет. Мастер омоложения рассказал. За это его и убили, с поломанными руками, — чтобы не рассказал ещё кому-нибудь. Двое закрывали звенья позади себя. Поверенный закрывал звенья впереди меня — старого лекаря, почтарку, сторожа. Теперь закрывать звенья было некому, кроме меня.

Кроссинг встретил тем же, чем встречал в прошлый раз: бурой сухой пылью, плесенью порта, гулом карго-парка, где грузят день и ночь, воротами на южное поле, у которых по утрам стоят поденщики. Ничего не изменилось. Проходные миры не меняются — меняются только люди, что через них проходят. Мы сошли с попутного грузовоза порознь, в раз-

ные смены, как сходят незнакомые, и встретились к вечеру в ночлежке для каютных у южных полей, где я жил в прошлый раз, после Пратта. Ночлежка была та же, хозяин тот же, книга та же. Только имя в книге я написал другое.

По дороге к ночлежке я прошёл мимо южного поля. У бочки, где греются поденщики, стоял бригадный с перебитым носом — тот самый, что ставил меня в прошлый раз старшим на подвес, — и орал на смену, как орал тогда. Над его бригадой висел на кране длинный контейнер, и держал его казённый строп с перегнутой ногой — тот самый или такой же, бригадный не менял стропов, пока они не лопнут, а когда лопались, говорил: им ещё год работать. В прошлый раз, когда я проходил здесь, сдавая пакеты, поденщики у бочки рассказывали, что строп опять лопнул, но никого не задавило. Бригадный и тогда сказал: повезло. Я посмотрел на перегнутую ногу стропа так, как смотрят на ключ, которым однажды уже открывали дверь, и пошёл дальше.

Улица часовщиков в старом квартале у западных полей была та же. Пять мастерских, две без вывесок. По вывескам чинят часы, без вывесок — людей. В первой без вывески раньше сидел старый лекарь, что сломал мне нос; теперь там висел замок, и на двери белело пятно от снятой таблички, и никто не знал, кто тут был. Во второй без вывески сидел бумажник.

Я помнил его хорошо — так помнят тех, кто трогал твоё лицо. Немолодой, полный, с короткими пальцами, что были

неожиданно ловкими, с увеличительным стеклом, вставленным в глаз, как монокль, и с привычкой говорить сам с собой, когда работал. Мастерская у него была узкая, как коридор, — пресс, кассы со шрифтом, банки с чернилами всех цветов, какими пишут на всех мирах, рамки с образцами печатей под стеклом. За мастерской, за занавеской, — комнатка, где он спал. Свет в мастерской давала газовая лампа над верстаком — старая, медная, с краном, что тёк. Он сам сказал мне это в прошлый раз, пока вклеивал карточку, — сказал не мне, а лампе, по своей привычке говорить с вещами: течёшь, старая, течёшь, а мастера не дозовёшься. И заткнул щель под дверью в мастерскую скатанным войлоком, потому что, сказал он, из-под двери дует, а бумага дует вместе с ним.

Тогда я запомнил это так, как запоминаю всё, — не зная зачем. Теперь знал.

Ночью я сделал то же, что делал на пепельном мире, у харчевни у порта: подождал, пока ляжет улица. На Кроссинге улица не ложится никогда — карго-парк гудит всю ночь, — но старый квартал у западных полей засыпает, потому что в нём живут те, кто работает днём. Солдат стоял на углу, в тени, у колонки, и смотрел на оба конца улицы. Я не просил его. Он встал там сам, как встают солдаты, когда кто-то из их части делает работу.

Замок на двери мастерской был хороший, лучше, чем в харчевне. Но я помнил, какой он, с прошлого раза, — я всегда запоминаю замки на дверях, за которыми мне делали то,

что нельзя делать при свете. Шпилька из шарфа, два гвоздя, семь минут. Я вошёл и закрыл за собой.

В мастерской было темно и пахло так, как пахнет у бумажников: чернилами, клеем, нагретой медью пресса и, слабо, сладко, газом. Из-за занавески доносилось дыхание — ровное, с присвистом, как дышат полные люди на спине. Он спал.

Я подошёл к занавеске и отвёл её край на палец. Он лежал на спине на узкой койке, полный, в исподнем, с открытым ртом, и увеличительное стекло лежало у него на груди на шнурке, как у почтарки лежали очки. На табурете у койки — стакан воды и недоеденный хлеб. Человек, что ложится спать, не доев хлеб, устал за день. Я постоял, считая его вдохи. Двенадцать в минуту, ровно. Спал крепко. Отпустил край занавески.

Я не стал искать карточку. Искать — значит трогать, а тронутое потом найдут. Карточка, если она была, сгорит или останется — неважно. Важно, чтобы не осталось того, кто знает, чья она.

Лампа висела над верстаком на цепи. Кран у неё был медный, с барашком, и барашек был тёплый — днём лампа горела весь день. Я повернул барашек на четверть оборота, туда, куда поворачивают, когда хотят дать свет. Света не было: фитиль был погашен. Был только звук — тонкий, сухой, как шипят на Профите стыки, когда в них уходит воздух. Сладкий запах стал гуще.

Войлок лежал у двери, скатанный, как он его оставил. Я вышел, закрыл дверь снаружи, повернул замок шпилькой обратно и, присев, подоткнул войлок под дверь с улицы — плотно, как он сам затыкал изнутри от сквозняка. Утром его найдут изнутри, у двери, там, где он всегда лежит. Где лежит, никто не спросит.

Потом я пошёл к ночлежке. Солдат отделился от колонки и пошёл следом, на сотню шагов сзади, по другой стороне, — так, как ходил за ним конвой. Он учился быстро. Узкие учатся быстро тому, что видят.

Утром весь старый квартал знал, что бумажник угорел. Соседи учуяли газ на рассвете, выломали дверь, вынесли его на улицу, но было поздно. Кран у лампы, говорили на углу у колонки, — он сам всем жаловался, что течёт; жаловался, жаловался и дожаловался. Мастера не дозвался. Говорили спокойно, как говорят о погоде, которая испортилась: на проходных мирах угорают каждую неделю, а бумажник был свой, но не родной.

Он делал мне бумаги. Я сделал ему последнюю.

Я записал его в счёт одной строкой — без вопроса, без креста, просто строкой, как записывают оплату по счёту, что давно ждала своего числа. В графе — газ. В той же графе, где у Двоих стоял мастер омоложения, у Поверенного — старый лекарь. Я закрывал двери за собой сам. Год назад их за мной закрывал Поверенный, и я тогда не знал, кто это делает, и думал: меня берегут. Теперь я знал, кто это делает. Это де-

лал я. И берёг я себя сам — так, как меня берегли: чужими смертями.

Оставалось главное, ради чего я пришёл на Кроссинг: три конторы долгого хранения при дальней связи, на разных концах порта, у разных людей, под тремя именами. Три пакета по сорок листов. Тот, кто прочтёт их, прочтёт про коридор, про Сальдо, про кассу, про Вейлов — и прочтёт под ними: Скорев жив. Пишет вот это. Если раз в три месяца не придёт слово, пакеты уйдут в правление Меридиана, на Кобальт, лично. А оттуда — по графе — в отдел убыли. К седьмому месту.

Слово я посылал, как положено, за неделю до срока. Срок наступал через двенадцать дней. Я мог посылать его и дальше — раз в три месяца, всю жизнь. Но жизнь у меня теперь была такая, в которой три месяца — долго. Да и тот, кто читал мои ключи, знал теперь, где лежат мои пакеты: я заплатил за их хранение на десять лет вперёд — ключами, которые он сделал.

Днём я пошёл к порту, к первой конторе — той, что стояла ближе всех к карго-парку, через улицу от харчевни, где обедают бригадные. Шёл не к конторе, а в харчевню: сперва посмотреть на дверь, потом войти в неё. Сначала смотрят, потом берут.

Я сел у стены, спиной к стене, лицом к двери и к окну, взял горячей воды и хлеба и стал смотреть на контору долгого хранения через улицу — вывеску, крыльцо, окно с ре-

шёткой.

На контору смотрел не я один.

У окна харчевни, за столиком на двоих, сидел полный господин с портфелем. Немолодой, гладко выбритый, в хорошем дорожном платье, какое носят на верхних мирах те, кто ездит по делам. Он ел медленно, аккуратно, отрезая хлеб ножом, и смотрел в окно — на ту же вывеску, то же крыльцо, то же окно с решёткой. Он сидел так, как сидят те, кто сидит здесь не первый день: тарелка отодвинута, кружка придвинута, локоть на портфеле.

Я видел его раньше. Один раз — и этого раза хватило. Белый мраморный зал у подножия третьей башни на Хейвене, три стойки за стеклом, кресла для ожидающих. В одном кресле — сухой человек в сером с газетой, что ни разу не поднял головы, пока меняла переводил кассу Сальдо на новый ключ по бумагам мёртвого Пратта. В соседнем кресле — полный господин с портфелем, что ждал своей очереди и не дождался, потому что ждал не очереди.

Он не смотрел на меня. Он смотрел на контору.

Он ждал не меня. Он ждал у конторы.

Глава 95. Конторы

Первую контору я оставил ему. Пошёл в те две, на которые он не смотрел.

Полный господин просидел у окна харчевни до вечера — я видел это, выйдя через задний двор и вернувшись на ту же улицу с другого конца, к колонке, откуда виден был угол харчевни. Он ел медленно, читал газету, не переворачивая страниц, пил кружку за кружкой и смотрел на крыльцо конторы долгого хранения. Один человек на одну дверь. Значит, на две другие двери у него людей не было — или были, но не такие, что умеют сидеть весь день и не пить. Люди, что умеют сидеть весь день, — дорогие люди. Их не ставят на каждую дверь.

Вторая контора стояла на другом конце порта, у старых причалов, где швартуются рыбацкие и почтовые борта с ближних миров. Маленькая, в одно окно, при станции дальней связи — антенна над крышей, ящики с тонкими ключами у стены для тех, кто держит почтовые ящики. Конторщик — немолодая женщина в нарукавниках, с лицом, на котором давно ничего не случалось. Я подал ей квиток, назвал имя, под которым сдавал, и условное слово. Она сверила квиток с книгой, имя с книгой, слово с книгой — с карточкой в железном ящике, где хранились слова, — и принесла мой пакет: серый, толстый, перевязанный бечёвкой, с каплей сур-

гуча на узле — без оттиска: печати у меня не было никогда, а сургуч я капал свечой, как капают на Даунсайде на пайковые мешки.

— Хранение оплачено на десять лет, — сказала она. — Возврат денег за неиспользованный срок не производится.

— Знаю, — сказал я.

Она записала в книгу: выдано владельцу по слову и расписке. Я расписался. Пакет положил в сумку, к кружке. Вышел.

Слово она проверяла по карточке. Карточка лежала в железном ящике под рукой у неё. Слово, которое берегло мой пакет, лежало в книге у того, кто его берёг. Я думал, его знаю один я. Его знал всякий, кто его проверял.

Третья контора стояла посередине, у станции дальней связи на главной площади порта — большой, с колоннами, с вечной очередью к окнам, где отбивают квитки на дальние миры. Контора долгого хранения занимала в ней угол, за отдельной дверью с латунной табличкой. Там было чище и дороже, и конторщик был мужчина — молодой, в хорошем сюртуке, с гладко зачёсанными волосами и улыбкой, какую выдают вместе с сюртуком.

Я подал квиток, назвал третье имя и третье слово.

Он сверил квиток с книгой — и улыбка у него стала другой, вежливой, как бывает у людей, которым надо сказать неприятное, а говорить неприятное их не учили.

— Пакет по этому квитку выдан, — сказал он. — Месяц

назад. Владельцу, по слову и расписке.

— Владельцу, — сказал я.

— Вот запись. — Он повернул ко мне книгу. — Выдано владельцу по слову и расписке. И подпись.

Подпись была моя. Моя рука, моя буква, мой наклон, моё имя — третье, то, под которым я сдавал. Тот же нажим в начале и та же петля в конце, которую я, сам того не замечая, ставлю с тех пор, как стал писать левой. Я смотрел на неё, как смотрят в зеркало, в котором отражается не ты. Почерк был мой. Рука была чужая.

— Это был не я, — сказал я.

Молодой конторщик развёл руками, очень вежливо.

— Я сам не выдавал, господин. Меня тут не было — я тут с позапрошлой недели. Выдавал прежний конторщик. Он умер. Сердце. Прямо за этим столом, через несколько дней после той выдачи. А был не старый.

Он сказал это так, как говорят о погоде на проходных мирах. На проходных мирах умирают от сердца каждую неделю.

Я поблагодарил его и вышел. Постоял на площади у колонны, в толпе тех, кто ждал очереди к окнам дальней связи, и посчитал, как считают недостачу: не что пропало, а как.

Имя третьей конторы знал тот, кто видел мои ключи: я платил за хранение с ключа, сделанного Домом, и в каждой оплате стоит, кому и за что. Слово знал прежний конторщик: оно лежало у него в железном ящике на карточке. Подпись

была у прежнего конторщика тоже — на квитке сдачи, где я расписался, сдавая пакет. Люди Поверенного пришли к нему с именем. Взяли у него слово. Взяли подпись, перерисовали её — аккуратно, как рисуют картинку, как перерисовал мою подпись сухой ревизор на пепельном мире. Расписались моей рукой. Получили пакет. А через несколько дней у конторщика, который всё это видел, за этим же столом случилось сердце.

Чистый почерк. Тот, что я знал: старый лекарь на Кроссинге — сердце, хозяин угла — уехал при деньгах, глава дома Вейл — сердце. Почерк Поверенного всегда чистый, и всегда это сердце.

Третий пакет был у него. Сорок листов: коридор по книге Холта, касса Сальдо, Ланг и Корд, Профит, Вейлы, акт. И строка под всем этим: Скорев жив. Пишет вот это. Моей рукой. Он держал теперь мою руку у себя в столе.

Оставалась первая контора. Та, на которую смотрел полный господин.

Я мог в неё не ходить. Пакет лежал там на десять лет, и слово знал только я и тот, кто его проверял, — а тот, кто его проверял, сидел под присмотром. Если я не приду, пакет будет лежать, пока не наступит срок. Срок наступит через двенадцать дней. Не пошлю слово — пакет уйдёт на Кобальт, в правление, по графе — к седьмому месту. А седьмое место прочтёт в нём то, что Поверенный прятал от него, ради чего убрал почтарку, сторожа и ревизора. Прочтёт, что Скорев

жив и что акт по Сальдо — ложь. Акт писал Поверенный. Я не знал ещё тогда, что это значит для него, — я только знал, что для меня это значит, что седьмое место пойдёт искать меня не через два месяца, а через две недели.

Значит, первый пакет надо было забрать. Под его глазами. Пусть смотрит.

Я вернулся к харчевне бригадных после обеда, когда он доел свой хлеб. Перешёл улицу на виду, не торопясь, поднялся на крыльцо конторы и вошёл. Внутри было то же, что во второй: окно, книга, железный ящик со словами, конторщик — старик в очках, сонный. Квиток, имя, слово. Старик сверил, принёс пакет, предупредил про неиспользованный срок, записал, дал расписаться. Я расписался своей рукой — пусть в этой книге будет хоть одна моя подпись, сделанная моей рукой.

Когда я вышел на крыльцо, полного господина у окна харчевни не было. Был пустой столик, кружка, газета.

Он стоял на углу улицы, у тумбы с объявлениями, и читал объявления.

Я пошёл к карго-парку. Он пошёл за мной — шагах в шестидесяти, по другой стороне, с портфелем под мышкой, как ходили все люди Поверенного, что я видел, — так, будто у портфеля была своя голова. Ходил он плохо. Полные люди ходят плохо за другими: им трудно идти медленно, когда идёшь медленно ты, и трудно стоять, когда ты стоишь. Он был человеком, который умеет сидеть весь день у окна. Хо-

дить за людьми его не учили. Его поставили на дверь, а я увёл его от двери.

У ворот южного поля стояли поденщики — человек тридцать, что ждали, кого возьмут на вторую смену. Бригадный с перебитым носом ходил вдоль них, тыкая пальцем: ты, ты, ты, не ты. Я встал в конец. Сумку с двумя пакетами и кружкой я отдал на хранение сторожу у ворот — за медяк, как отдают все поденщики, что приходят с вещами.

Бригадный дошёл до меня, посмотрел.

— Стары вы, папаша, для подвеса.

— Строп знаю, — сказал я. — Тали знаю. Двадцать лет на погрузке.

Он посмотрел на мои руки — левую, сухую, рабочую, и правую, в шрамах после штопки, с прямыми пальцами, — и что-то в нём сверилось с тем, что он помнил. Он не узнал меня: лицо было другое, борода, нос. Но он узнал руки, которые знают строп, — бригадные узнают это так же, как солдаты узнают выправку.

— Год назад был у меня один такой, — сказал он. — Старый, тоже стропы знал. Хороший был подвесчик. Ушёл после смены, не вернулся. Ладно. Третий кран, подвес. Плачу за смену, не за полторы.

Полный господин стоял за оградой поля, у штабеля пустых контейнеров, в тени, и делал вид, что ждёт кого-то из конторы карго-парка. На южном поле таких бывает много: купцы, агенты, приёмщики, что приходят смотреть свой

груз, — в хорошем платье, с портфелями. Никто не смотрит на них, как никто не смотрит на поденщиков. Только поденщики и купцы стоят в разных местах.

Вчера я считал, что моё нынешнее лицо на всём кольце знают двое. Я ошибся в счёте. Лицо знал и этот — он видел меня в белом мраморном зале у третьей башни, в чужом тёмном сюртуке, с бородой и носом, что сломал старый лекарь, видел вблизи, сидя в трёх креслах от меня, и запоминал, потому что его для того и сажали. Вчера я его не посчитал — так же, как не считают кресло, в котором кто-то сидел. Ошибку в счёте не объясняют, её исправляют. Бумажника я исправил газом. Этого исправит строп.

Он стоял в тени штабеля, потому что на солнце полным людям жарко. В тени он мог видеть меня. Штабель пустых контейнеров тянулся вдоль ограды, и над ним, вдоль ограды, ходил третий кран — от причала к площадке, где контейнеры ставят на подводы. Я знал это поле. Я знал, куда ходит третий кран.

Контейнеры на третьем кране цепляли тем самым стропом — казённым, с перегнутой ногой. Другого на третьем кране не было. Он лопнул однажды на моих глазах и однажды без меня, и ни разу бригадный его не сменил. Им ещё год работать.

Первые три контейнера я подвесил как положено: ровно, на четыре ноги, с перегнутой ногой под лёгким торцом. Они прошли над площадкой и сели на подводы. Бригадный кив-

нул издали: хорошо работаешь, папаша. Полный господин стоял в тени и смотрел.

Четвёртый был длинный, тяжёлый, гружённый с одного конца — я видел это по осадке на причале, по тому, как прогнулся пол под тяжёлым торцом. С таким контейнером на третьем кране делали то, что делают со всем тяжёлым с одного конца: несли не над площадкой, а вдоль ограды, над штабелем пустых, чтобы, если что, падал на пустое. Над штабелем людей не бывает.

Я подвесил его так, как подвесил когда-то для Пратта: перегнутую ногу — под тяжёлый торец, соседнюю — на звено короче. Посмотрел на крановщика наверху и махнул: вдоль ограды. Он кивнул. Кран пошёл.

Контейнер шёл над штабелем, медленно, покачиваясь, и строп пел под ним — тихо, на одной ноте, как поёт проволока, когда ей тяжело. Я считал. Я знал, на каком шаге крана нога, что перегнута, отдаст. Я знал это с прошлого года, с южного поля, с Пратта, — знал так же, как знал когда-то, сколько воздуха в баллоне.

Полный господин стоял в тени у штабеля и смотрел не вверх, а на меня. Он следил за мной. Ему велели следить за мной — и он следил, не отрывая глаз. Узкий человек смотрит туда, куда ему велели.

На двенадцатом шаге крана перегнутая нога лопнула.

Звук был тот же, что в прошлый раз, — сухой, короткий, как выстрел, только тише. Тяжёлый торец пошёл вниз, кон-

тейнер повернулся на трёх оставшихся ногах и сорвался с них, как срывается с крюка всё, что повесили криво, и лёг на штабель пустых — краем, всем своим весом, с грохотом, который было слышно в порту. Пустые контейнеры под ним смялись, как картон. Штабель поехал в сторону ограды. В тень.

Полный господин так и не посмотрел вверх.

Бригадный орал. Крановщик орал. Поденщики бежали к штабелю — смотреть, — и смотритель поля бежал из своей будки с книгой под мышкой, потому что смотритель с книгой бежит туда, где надо писать акт. Я бежал вместе со всеми — немолодой подвесчик, что подвесил контейнер, белый, с открытым ртом, — и встал там, где встали все, и смотрел туда, куда смотрели все.

Из-под края смятого контейнера торчала рука в хорошем рукаве. Рядом в пыли лежал портфель.

Пока смотритель писал, а бригадный клялся, что строп был казённый, что он его не менял, потому что ему не давали нового, что этому стропу ещё год работать, — я поднял портфель. Поднял, как поднимают с пыли чужую вещь, чтобы отдать хозяину, и понёс к будке смотрителя. По дороге, за бочкой, я его открыл.

Бумаг было мало. Квиток харчевни — за двенадцать дней. Расходные ключи, связкой. И конверт — серый, конторский, незапечатанный, без адреса. В конверте — два листа.

Первый — копия записи из книги третьей конторы, сде-

ланная тем же конторским почерком: выдано владельцу по слову и расписке. С копией подписи. Моей.

Второй — записка. Три строки, мелко, ровно, как пишут накладные. Почерк я знал.

Пакет у меня. Слово у менялы — в силе. Жалованье — с первого дня.

Записка была не ему. У записки не было адреса, потому что адрес её стоял у меня перед глазами: тот, кто откроет этот портфель. Поверенный писал это не полному господину — тот был только конвертом, как я был когда-то для Дома кассой. Поверенный знал, что я приду в третью контору и узнаю. Знал, что я пойду в первую — под глазами его человека. Знал, что его человек пойдёт за мной. И знал — или считал, что знает, — что портфель его человека откроет не смотритель поля, а я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.